

Роман

Ничего кроме надежды

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Юрий Слепухин

Юрий Слепухин

Ничего кроме надежды

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65403507

SelfPub; 2021

Аннотация

Четвертая книга тетралогии Ю. Г. Слепухина о Второй мировой войне. Действие происходит с октября 1943 до лета 1945. На фоне событий завершающих этапов войны судьбы главных героев тетралогии меняются неожиданным образом, их чувства подвергаются серьезным испытаниям. Через фронтовую жизнь Сергея Дежнева и генерал-майора Николаева показаны основные сражения этих лет, освобождение от нацизма Европы советскими войсками и атмосфера внутри армии, Берлинская операция. Показана и операция «Оверлорд» – высадка союзников в Нормандии, а также судьбы угнанных в Германию соотечественников, жизнь в трудовых лагерях, возвращение на родину. Для романа характерен историко-философский подход в освещении событий.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Часть первая	5
Глава первая	5
Глава вторая	24
Глава третья	50
Глава четвертая	73
Глава пятая	102
Глава шестая	126
Глава седьмая	155
Глава восьмая	183
Конец ознакомительного фрагмента.	202

Юрий Слепухин

Ничего кроме надежды

Юрий Григорьевич Слепухин

Ничего кроме надежды. Роман

Часть первая

Глава первая

В начале октября 1943 года командование Степного фронта предприняло спешную перегруппировку войск, стягивая в районе Переволочная – Верхнеднепровск мощный ударный кулак для прорыва на Криворожье.

Войска передвигались скрытно. По всей двухсоткилометровой полосе фронта между Черкассами и Днепродзержинском рокадные дороги левобережья, кое-где еще просматриваемые немецкими наблюдателями с правого берега, днем оставались почти безлюдными, движение по ним не превышало того, что обычно можно увидеть в прифронтовой полосе в период затишья. Но с наступлением темноты местность оживала: массы людей, техники и обозов, переждав день в какой-нибудь рощице или балке, снова заполняли разбитые рейдеры и проселки, устремляясь к юго-востоку – в район сосредоточения.

441-й мотострелковый полк, вместе с другими частями 5-й гвардейской армии снятый накануне вечером с Кременчугского плацдарма, к рассвету добрался до небольшого села в нескольких километрах выше устья Ворсклы. Не дожидаясь, пока подспеют кашевары со своим хозяйством, солдаты по-

завтракали сухим пайком и завалились спать, где кто смог пристроиться – в машинах и под машинами, в хатах, если еще находилось где свободное место, в клунях, в давно пустых катухах, откуда за два года оккупации успел выветриться домовитый запах скотины.

Капитан Дежнев, командир 2-го батальона, проснулся около полудня. Большинство офицеров, разместившихся вместе с ним, еще спали, только адъютант Лукин с полковым начхимом Богатыренко играли в шахматы, сидя на немецких снаряжных ящиках.

– Как там погодка, гроссмейстеры? – спросил Дежнев, зевнув.

– Летная, к сожалению, – рассеянно отозвался адъютант. – Шахец вам, Петро Степаныч. Ворон изволите ловить, а шахматы, между прочим, игра умственная.

– Побачимо, побачимо, – пробасил усатый немолодой начхим. – А вот так не хочешь?

– М-да, – после недолгого молчания отозвался Лукин огорченно. – Скользкий вы человек, Петро Степаныч, с вами играть – все равно, что голыми руками намыленного ужака ловить...

Они опять замолчали. Из-под шинели в углу высунулась взъерошенная голова ротного Ковалева, огляделась непонимающими глазами и снова спряталась.

В осторожно приоткрытую дверь заглянул немолодой солдат с унылым лицом – Федюничев, ординарец комбата-два,

всегда безошибочно, каким-то шестым чувством угадывал, что начальство уже проснулось. Перехватив взгляд капитана, Федюничев раскрыл дверь пошире и вошел на цыпочках, неся курящийся паром котелок и завернутые в вафельное полотенце бритвенные принадлежности.

– Чем недовольны сегодня, Федюничев? – поинтересовался комбат, ответив на хмурое приветствие ординарца.

– А чему радоваться, товарищ гвардии капитан. Нас как с того берега сняли, ребята думали, может, на отдых отводят, а что получается? В леске вон танков видимо-невидимо, тоже ночью подошли. Говорят, с-под самого Харькова гнали.

– На вас, Федюничев, не угодишь. Не будь танков, вы бы ворчали, почему их нет. Никогда не случилось идти в атаку без танковой поддержки?

– Мне, товарищ гвардии капитан, все случилось.

– Вот и мне тоже, – сказал комбат, стягивая гимнастерку. – Поэтому я лучше себя чувствую, когда танки рядом. А если хотите сказать, что вообще предпочли бы не ходить в атаки, то тут я вас понимаю. Мне самому это не очень-то по душе. Знаете, кем надо быть, чтобы находить в этом удовольствие?

– Фашистом, товарищ гвардии капитан, – подумав, ответил ординарец.

– Верно, Федюничев. Все-таки образ мыслей у вас правильный, хотя и мрачный.

– Разрешите идти?

– Пожалуйста. Помыться найдется чем?

– Принесу, тут до берега полкилометра не будет.

– Смотрите, чтоб с той стороны не подстерегли.

– Никак нет, ребята ходили – говорят, там вроде тоже наши.

Федюничев разложил все принесенное на подоконнике и вышел. Подсев к окну на снарядный ящик, Дежнев заправил в бритву новое золингеновское лезвие, задумчиво потер подбородок. Под пальцами шуршало. Хорошо блондинам – тому же Лукину, бреется через день – и все равно ничего не видно...

– А что, адъютант, – спросил он, – танки действительно из-под Харькова?

– Чего? А, танки... Да, из-под Харькова, из-под Полтавы. Седьмой мехкорпус. И еще, кажется, Восемнадцатый танковый, генерала Труфанова.

– Это что ж, фронтовой резерв пошел?

– Похоже на это.

– То-то Федюничев мой затосковал, – Дежнев усмехнулся, взбивая мыльную пену в алюминиевом стаканчике. – Он наступление мозолями чувствует, как старуха – ненастье.

– Твой ординарец похож на того солдата, которого Петр Первый приказал выгнать из Преображенского полка «за вид, приводящий весь строй в уныние». Ваш ход, Степаныч.

– Шах, юноша, – объявил начхим. – А заодно и мат, извиняюсь за выражение. Ото, как говорится, не лезь поперед батьки в пекло.

– Пойдите, пойдите...

– Я и посидеть могу. Да мат, мат, ну чего смотришь?

– Ладно, ваша взяла, – Лукин притворно зевнул, демонстрируя умение проигрывать с достоинством, и смешал фигуры. – Ну что, еще одну до обеда засадим?

– Нет, пойду, – Богатыренко посмотрел на часы и поднялся. – Данилыч, у тебя в батальоне как с противогазами? Ты скажи ротным, нехай следят. А то ведь сам проверю, хуже будет.

– А нечего и проверять, – сказал Дежнев невнятно, скобля бритвой щеку. – Будто сами не знаете, что солдаты в противогазных сумках носят.

– То-то, что знаю, – вздохнул начхим. – А не дай Бог что случится?

– Не дай Бог, – согласился Дежнев. – Только на него и надежда.

– Через активированный уголь самогонку хорошо очищать, – мечтательно заметил Лукин. – Почему так, Петро Семеныч?

– Уголек сивушные масла абсорбирует. Еще марганцовка годится, – подумав, добавил начхим. – Она после в осадок выпадет, через ватку можно отфильтровать. Ну ладно, хлопцы, бувайте.

Начали подниматься и другие. Вылез из-под шинели Ковалев – посидел, позевал, потом вдруг, проснувшись окончательно, вскочил, разделся до пояса и побежал на улицу

– делать зарядку. Выбравшись до младенческой гладкости, Дежнев сполоснул и разобрал бритву и тоже вышел из хаты, в солнечную, пахнущую палым листом прохладу погожего осеннего дня. Федюничев уже ждал его с ведром ледяной да-же на вид воды.

– Рысью, что ли, бежали? – спросил комбат, удивленный прытью обычно нерасторопного ординарца.

– Никак нет, товарищ гвардии капитан, тут рядом разжил-ся – у артиллеристов. Они аккурат привезли для кухни, так я и подгадал...

– Хитрец вы, Федюничев. Ну, давайте, – скомандовал ка-питан и нагнулся, затаив дыхание. – У-у-у, ч-черт!! Холод-нее не было? Лейте, чтоб вам пусто было!

– Сами же любите, чтоб пробрало...

– Не до оп-п-пупения же, – отозвался Дежнев сдавленным голосом и заикаясь, так свело челюсти. – У! А! Хорош-ш-шо, Федюничев, зд-д-дорово...

– Привет вам от старшего лейтенанта Игнатьева, – сооб-щил ординарец, когда комбат кончил мыться и, стуча зуба-ми, принялся растирать спину полотенцем.

– Он что, тоже здесь?

– Я ж говорю, водой вот у них на кухне разжился.

– Нелогично отвечаете, Федюничев. Я уяснил, что воду вы свистнули у артиллеристов... кстати, и ведро тоже? Но из этого совершенно не следует, что вы побывали именно в батарее Игнатьева.

– В ей самой, где ж еще, зря вы сомневаетесь, товарищ гвардии капитан, – твердо ответил ординарец таким тоном, будто ему было обидно высказанное комбатом предположение, что он мог побывать в другой батарее.

– Да, Федюничев, с вами не соскучишься. Что он еще говорил?

– Сказал, что зайдет, хотел вас повидать.

– Ладно, сам к нему схожу. Где они разместились, вы скажали?

– А вон туда, к балочке, там ихние пушки увидите, замаскированные...

Дежнев был рад весточке об Игнатьеве, хотя и подумал с огорчением, что теперь-то уж точно – накрылся отдых; присутствие иптаповцев подтверждает его догадку о предстоящих тяжелых боях. На плацдарме все ждали – сменят, мол, отведут в тыл хоть ненадолго. А тут такая петрушка получается. Он понимал, что ему, как боевому офицеру, положено скорее радоваться тому, что готовится очередная наступательная операция: она наверняка окажется успешной, после Курска неудачных не было, хотя дерется немец крепко (видно, и в самом деле что-то в войне переломилось, и теперь странно вспомнить, что еще год назад и мечтать не могли ни о каких наступлениях, главным было удержаться в обороне, выстоять, не пустить дальше). Положено было радоваться, поскольку каждый новый удар по противнику приближал мирную жизнь, да и была у капитана Дежнева еще одна, уже

личная, причина для бодрого боевого настроения: удар через Днепр, судя по всему, намечался в направлении его, Дежнева, родных мест, а это означало теоретическую возможность побывать в Энске.

Еще год назад! А в сорок первом? Его первый бой был в Белоруссии – командование предприняло попытку контр-удара; на рассвете их бросили через речушку со странным местным названием – Збруч, Птичь, что-то в этом роде, – и даже танки поддерживали, но ничего не вышло, к полудню немец так их шибанул обратно, что едва ноги унесли. Так вот тогда, это ему особенно запомнилось, утром – когда только высадились с плотов и пошли вперед – такой был порыв, такой восторг от одного сознания, что наконец-то вперед, а не назад; и ему – вопреки географической очевидности – представлялось, что там, впереди, за невидимыми еще немецкими позициями, ждут их не припятские болота, а ковыльная днепровская степь, курганы и за ними – Энск с Татарской балкой, с прудами в Казенном лесу, почему-то называемыми по старинке Архиерейскими, с 46-й школой, и Домом комсостава, где жила Таня, и тем домиком на Челюскинской, где жили когда-то он сам, и мама, и Зинка, и Коля – еще живой, еще ничего не знавший ни о Карельском перешейке, ни о дотах «Линии Маннергейма»... Видно, и впрямь год жизни на войне надо считать за три, если так все переменялось в нем и для него самого. Сейчас возможность попасть в родной город и узнать что-нибудь о Тане становилась вполне реальной

– но он не испытывал того, что должен был бы испытывать. И что испытал бы тогда, осенью сорок первого, если бы в то страшное время кто-то сказал едва обстрелянному мальчишке-солдату, что ему доведется гнать немца из этих мест.

Сейчас он уже не был рядовым, он был – и чувствовал себя – офицером, командиром батальона, и поэтому, думая о новом наступлении, он прежде всего думал о том, что вот опять предстоят бои, и бои, скорее всего, тяжелые, а люди в ротах и так уже измотаны до предела. Странно, – казалось бы, воевать теперь не в пример легче, чем, скажем, год назад: и снабжается фронт совсем по-другому, и танков хватает, и артиллерийской поддержки, и в воздухе давно уже нет у хваленной люфтваффе былого превосходства (а точнее сказать, в воздухе мы господствуем – с каждым месяцем увереннее и увереннее) – но вот, поди же ты, что-то никто кругом не замечает, чтобы воевалось «легче». Напротив, на каждом шагу видишь, как все устали. Раньше такого не было, было другое – разное, вплоть до паникерства; но вот этой усталости не наблюдалось. Прошлым летом у всех было ощущение предела, понимание того, что слова «ни шагу назад» – это не просто слова из приказа, но четко сформулированное выражение потребности момента, потребности самой главной, первой и, по существу, единственной, рядом с которой обесценивалось и теряло смысл все другое... И это понимание – или ощущение (не столько умом, сколько сердцем), – овладевшее всеми прошлым летом, когда фронт отходил к Волге и Кавказу,

высшего накала достигло в дни Сталинградского сражения и не ослабевало еще долго после того, как Паулюс сдался со своим штабом. Уже немцам пришлось очистить всю территорию между Волгой и Доном, а напряженность сохранялась в полной мере, положение продолжало оставаться не менее тревожным, чем год назад. Только после великой Курской победы все почувствовали: да, вот теперь худшее позади, теперь можно если и не расслабиться, то хотя бы маленько перевести дух. И сразу начало сказываться сверхчеловеческое напряжение, в котором уже два года жили армия, народ, вся страна, – люди позволили себе ощутить усталость...

В этом-то, наверное, все и дело, подумал капитан Дежнев. Раньше бы еще как радовался, а вот теперь никакой реакции. Точнее, реакция есть, но не та. Что же он – забыл, что ли, что там, в Энске, осталась Таня?

Он попытался представить себе – как они сейчас там, в оккупации, жадно читают сводки в немецких газетах, ловят и пересказывают друг другу базарные слухи. Как и в сорок первом, наверное, только тогда приближения фронта боялись, а теперь ждут. Они там ждут – вот, скоро наши вернутся! – а мы не торопимся, недовольны тем, что отдых накрылся.

Двадцать два года, подумал капитан Дежнев, а рассуждаю как старик. Ну пусть один за три, ладно, тогда – по такому счету – ему выходит под тридцать. Все равно мало для такого равнодушия. Впрочем, не равнодушные это, нет. Неверие

какое-то, так точнее. Неверие в то, что – даже если попадет в Энк – найдет там Таню. Такого не бывает в жизни, чтобы два года оккупации – а она там же, в той же квартире... Бамбуковая этажерочка с книгами, письменный столик, глобус, радиола в углу. «Цыган», «Рио-Рита», «Если завтра война, если враг нападет...» («малой кровью», мать вашу за ногу!). Не может быть, нет. А ведь и неверие от той же усталости, раньше верилось...

Неужели всего двадцать два? – удивился он вдруг, словно только сейчас осознав свой возраст. Хотя это не так мало; вон Евгений Онегин к восемнадцати успел пресытиться светской жизнью и удалился в деревню. Учитывая эпоху с ее темпами, нам положено было взрослеть еще скорее – а ведь не выросли почему-то, жили какими-то недоумками, недорослями, всему верили, ничего не замечали. Только в сорок первом и начали наверстывать упущенное. Хорошо ему, дважды второгоднику, он войну встретил двадцатилетним, а все его одноклассники – Таня, Глушко Володька, какими они были тогда детьми, восемнадцатилетние сорок первого года! Страшно подумать – таких оставили у немцев, один на один с зондеркомандами, с гаулейтерами и рейхскомиссарами, со всем тем, что обозначалось одним словом – «оккупация». Ему-то повезло! А ведь он – когда подавал заявление в военкомат – думал, что избирает более трудную, более опасную судьбу. Именно для того, чтобы в безопасности была она, Таня...

А что Игнатьев теперь здесь, это хорошо. С ним капитан познакомился недавно, под Кременчугом, и сразу почувствовал симпатию – хотя артиллерист из Ленинграда был лет на восемь старше и поначалу показался слишком «интеллигентом». Потом Дежнев перестал придавать этому слову насмешливый смысл, даже произнося его мысленно. С Игнатьевым было интересно, и не только потому, что он больше знал; прошлым летом, когда Дежнев лежал в госпитале после ранения, его соседом был майор интендантской службы, жуткий трепач, человек феноменальной памяти и начитанности, способный шпарить наизусть по полстраницы из «Золотого тельца» или «Двенадцать стульев» (специально брали в библиотеке, проверяли); при этом он был дурак дураком, треп порой оказывался занятным, слушать майора было легко, но говорить с ним было не о чем. Игнатьев не давил собеседника цитатами, не стремился поразить начитанностью; разговаривая, он просто делился мыслями, и это всегда было интересно – о какой бы ерунде ни шла речь. Впрочем, в разговорах с ним ерунда отсеивалась сама собой, остающееся же могло показаться пустячком, но раскрывалось вдруг какой-то совершенно неожиданной стороной, и ты видел, что это вовсе не такой пустяк. И еще: с ним было хорошо советоваться. По самым разным вопросам. Дежневу приходилось видеть людей, располагающих к откровенности и умеющих на нее ответить, но это были люди, как правило, в летах. Старший же лейтенант Игнатьев, конечно, не молод

– шутка ли, человеку под тридцать! – но ведь это еще не тот почтенный возраст, когда вместе с сединами приходит мудрость. Иногда, видно, это случается и без седин. Пойду навещу, как только вырвусь, решил капитан Дежнев, привычными движениями застегнув ремень и разглаживая под ним гимнастерку.

Вырваться не удалось до самого вечера. После обеда он занимался поднакопившимся батальонным делопроизводством: еще не были составлены сводки потерь и расхода боеприпасов там, на плацдарме, надо было подписать похоронки, представления к наградам. Потом было политзанятие – слушали про объявленный московскими строителями месячник помощи освобожденным районам Украины, про ход формирования добровольческих частей из румынских военнопленных, про положение в Италии. А потом командирам батальонов объявили, что сегодня ночного марша не будет.

Настроение у капитана Дежнева, пока он слушал проводившего занятие замполита, стало совсем бодрым. От итальянцев, по правде сказать, Гитлеру было не так уж много помощи, но как-то они ему все же содействовали, и лишиться союзника в такой критический период войны – это, что ни говори, потеря чувствительная. Второй союзник – Румыния – тоже, видно, дышит на ладан, если уже и румынские добровольцы у нас появились. Словом, все шло к тому, что конец если еще и не так близок, то уже просматривается.

Поэтому новость о том, что передвижение войск по-

чему-то приостановлено, сначала подействовала на комбата-два несколько обескураживающе: дождешься тут «конца» с такими темпами! Чего, в самом деле, волынку тянут? Нет хуже вот такого – ни отдых, ни наступление.

Про темпы, впрочем, подумалось сгоряча, уж на них-то грех жаловаться. Белгород, Харьков, Полтава, Кременчуг – не так мало за два месяца. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Но ведь и потери растут пропорционально скорости наступления, а что дороже обойдется – более долгая война с меньшими потерями или короткая, но с большими, – это, наверное, только там, на самых верхах, могут рассчитать. Если вообще рассчитываются такие вещи.

Об этом он и спросил старшего лейтенанта Игнатьева, когда они наконец встретились – уже после ужина. Артиллерист, подумав, сказал, что теоретически такой расчет возможен, но насколько он будет соответствовать реальному положению вещей, сказать трудно. И потом, добавил он, что значит «дороже»? Дороже в чем – в человеческих жизнях? В стоимости потерянной техники, истраченных боеприпасов? В таком исчислении, вероятно, затяжная, «осторожная» война обошлась бы дешевле; но есть и другая сторона дела, есть моральный фактор.

– Видите ли, война всегда нравственно убыточна, – добавил Игнатьев, помолчав. – Всякая война, даже самая справедливая.

– Ну почему же? – удивился Дежнев. – Столько героиз-

ма кругом! Война, по-моему, как раз в человеке все лучшее раскрывает – в мирное время жил себе, ничем не выделялся, а тут вдруг идет на подвиг.

– Бывает, – согласился Игнатьев. – Но бывает и иначе: нормальный человек – и вдруг оказывается шкурником, изменником, убийцей. Тут все сложнее, война не только лучшее раскрывает в человеке, но и худшее тоже, она раскрывает его целиком, выворачивает наружу все, что есть у него в душе. Отдельно взятый человек может, пройдя испытание фронтом, стать лучше, честнее, научиться товариществу, самопожертвованию, это все так. Но в целом, как социальное явление, война не способствует подъему нравственности, и это тем заметнее, чем дольше она длится. В этом смысле затяжная война дороже.

– Мудрите вы что-то, Пал Митрич, – заметил Дежнев, не столько возражая, сколько просто констатируя необычность хода мысли собеседника. С Игнатьевым общепринятое между офицерами приблизительно равного звания обращение на «ты» почему-то не получалось, и они продолжали церемонно именовать друг друга по батюшке. – У вас-то что новенького за эту неделю – в личном плане?

– В личном? Ну, что в личном плане – письмо получил от сестры, к сожалению, неутешительное. Еще в один детский дом съездила, там Димки тоже нет.

– Найдется, раз эвакуировали, – бодро сказал Дежнев, кривя душой. Он прекрасно понимал, что сам факт эвакуа-

ции еще ничего не значит, но надо же как-то поддержать человека, у которого жена умерла от голода, а трехлетний сын потерялся. – Их же по всей стране, небось, разбросало!

– Надеюсь, найдется, – Игнатьев бегло улыбнулся, показывая, что моральную поддержку принимает с благодарностью. – У нас в дивизионной газете работает одна моя доверенная знакомая... Вот у нее совсем худо. Молодая женщина, муж был моим сотрудником по кафедре. Он тоже ушел в ополчение и погиб сразу, под Лугой, а она после этого оставила годовалого ребенка на родителей и тоже пошла в армию. Причем без всякой военной специальности, просто машинисткой при штабе. Так вот, прошлой весной ей сообщили, что они умерли все – и старики, и сын.

– Ни хрена себе, – сказал комбат. – Чем же она думала – в такое время ребенка бросать? И где, в Ленинграде!

– В такие моменты, наверное, люди не думают. Да и кто из ленинградцев представлял себе, чем может обернуться блокада? Мне один путеец, работавший в управлении Октябрьской дороги, рассказал вещь совершенно невероятную: в июле и августе, когда уже были потеряны Прибалтика и Белоруссия, шедшие туда эшелоны с продовольствием для фронта переадресовывались на Ленинград, но потом ленинградские власти потребовали это прекратить, поскольку-де в городе все продовольственные склады переполнены¹. И эше-

¹ По свидетельству А. И. Микояна [Военно-исторический журнал. 1977, № 2, с. 45–46], с просьбой прекратить завоз продовольствия в Ленинград обращался

лоны стали разгружать прямо в прифронтовой полосе, под носом у наступавших немцев.

– Чего ж тут невероятного, это по-нашенски, сколько угодно было таких случаев. Мы когда отступали из Белоруссии, у нас на глазах жгли интендантские склады с обмундированием – там миллионы пар сапог, а бойцы многие шли чуть не босиком, так нет того, чтобы раздать хотя бы по паре, все равно же пропадает, – нет, не положено, есть приказ жечь, значит, жги. Но эта ваша знакомая... Ну, мамаша! Я бы таких...

– Сейчас ее только пожалеть можно.

– Пожалеть... Надо бы, наверное, кто же спорит. Но только у меня для матери, которая ребенка могла бросить, жалости нет и не будет. Вы видели, что с детьми война делает? Мы за эти два года такого насмотрелись, что уже, думается, ничем нас не прошибешь; но что для меня всегда как нож по сердцу, так это детишки в освобожденных местах. Я уж не говорю про убитых или раненых, но просто вот эти – сироты ли, потерявшиеся ли, кто их знает, – забьется такое в щель какую-нибудь, сидит, как зайчонок, дышать боится. Ну, это война виновата, тут ведь сколько убитых, столько и сирот, никуда не денешься. Но чтобы мать сама бросила...

– Вы все-таки упрощаете проблему...

– А чего тут усложнять? Все просто – муж погиб, так она мстить решила. Ребенка бы лучше сберегла, дура, мстителей

без нее хватает. Я всех этих баб вообще гнал бы из армии в три шеи... кроме медперсонала, конечно! Про этих ничего не скажу – это дело святое. Хотя опять-таки не понимаю, почему у противника хватает мужиков служить санитарями, а у нас раненых из-под огня девчатам таскать приходится. В ротах сплошь санинструкторши, соплюхи эти несчастные... Да я не им в осуждение, им после войны из чистого золота памятник надо поставить. Я про других говорю, про всех этих штабных бодисток-машинисток, а еще хуже – когда баба за автомат берется или за снайперскую винтовку. Это уж вообще...

– Да, это страшно, – согласился Игнатъев. – Я, кстати, это тоже имел в виду, когда говорил о нравственной убыточности войны.

– Ну, если в этом смысле...

– Конечно, и в этом тоже. Война раздвигает границы допустимого, мы с вами убиваем в каждом бою, хотя и понимаем, что убийство – штука, в общем-то, недопустимая, когда-то даже заповедь особая существовала на этот счет. Но для нас – мужчин, солдат – убийство стало допустимым, естественным делом. После войны, коли будем живы, ни вы, ни я не станем терзаться из-за этого угрызениями совести. Но когда убивает женщина... Пусть она тысячу раз права, речь не об этом... Она, мне думается, убивает что-то в себе, что-то несоизмеримо более важное, чем все требования данного момента. Я, например, не уверен, что женщина, воевавшая

с оружием в руках, сможет правильно воспитать своего ребенка. Очень хотел бы ошибиться, но боюсь, что моральные последствия участия женщин в этой войне начнут ощущаться лет через двадцать.

– Да их, может, и не так уж много воюет, – заметил Дежнев. – По правде сказать, я про этих героинь чаще в «Звездочке» читаю, чем вижу их на передовой своими глазами. Так что, Пал Митрич, может, и не будет никаких последствий.

– Дай Бог, как говорится. Хотелось бы верить, что не много... Однако холодает, – Игнатьев остановился (они разговаривали, прогуливаясь взад-вперед по вытоптанному пустому майдану, мимо разрушенной церквушки с наполовину сбитой колоколенкой) и, запрокинув голову, поглядел в темнеющее небо с первыми звездочками, проклюнувшимися над темными очертаниями тополей.

– Октябрь пошел, – сказал Дежнев. – У нас тут в это время ночи уже прохладные.

– Да, ведь вы из этих краев?

– Почти. Туда, чуть южнее, – Дежнев движением головы указал на другую сторону майдана, где небо еще прозрачно розовело медленно гаснущей зарей.

– Может статься, что через Днепр пойдем прямо к вам в гости.

– Это уж как командование...

Глава вторая

Визита к крестной Болховитинов побаивался. Как все Ададуевы-Нащокины, нрава старуха была крутого, и мнений своих прятать за обтекаемыми словами не привыкла, резала правду-матку сплеча и наотмашь. Но не пойти было нельзя – давно не видались, в последний свой приезд в Прагу, два года назад, он ее не застал, а на редкие поздравления – с Рождеством, с Пасхой, с днем ангела – она теперь не отвечала. Значит, все-таки осуждает, хотя он тогда в оставленном для нее письме убедительно (как ему казалось) изложил мотивы, побудившие его подписать контракт с Вернике. Как знать, не откажется ли она вообще с ним повидаться.

Нет, не отказалась. Погрузневшая и постаревшая, но все еще сохраняющая осанку выпускницы Смольного института, приняла его в гостиной, тесной от старомодной мебели и бесчисленных фотографий. Снимки – большие и маленькие, в рамках овальных и прямоугольных, серебряных, бархатных, палисандровых – покрывали стены и толпились на ломберном столике, возле которого восседала в креслах Варвара Львовна.

– Хорош, – сказала она, когда Болховитинов, поцеловав ей руку, присел на указанный хозяйкой стул. – Я уж думала, ты в feldgrau² ко мне пожалуешь, спасибо, догадался в пар-

² Серо-зеленом (нем.).

тикулярное переодеться...

– Зачем же мне переодеваться, – возразил Болховитинов, – отлично знаете, что я не в армии, я ведь писал вам.

– Помилуй Бог, какая радость – он не в армии! Выходит, тевтоны тебе пока на длинном поводке позволяют презвиться? Ничего, укоротят, дай срок. Нынче с этими тотальными мобилизациями они всех подчистую в солдаты гонят, неужто тебя оставят.

– Иностранцев в армию берут только добровольцами, – объяснил Болховитинов терпеливо, – мне это не грозит.

– Хорошо хоть, отец не дожил до этакого срама, – не слушая его, продолжала крестная. – Впрочем, как знать, покойник тоже был сумасбродом... видно, ваша болховитиновская порода такая. То-то он со всем РОВСом перегрызся! Его судом чести хотели, ты небось и не слышал, а я знаю досконально, просто замяли потом, не стали сор из избы... Помилуй Бог – боевой офицер, первопоходник, с Лавром Георгиевичем от Новочеркасска до Екатеринодара прошел – и вдруг подался в большевизаны!

– Да не был отец никаким большевизаном. Он в своих лекциях доказывал простую вещь – что революция в России была неизбежна, и что белое движение было обречено с самого начала, поскольку народ его не поддерживал...

– Вздор, вздор, при чем тут народ. Ты еще скажи, что русский мужик бронштейнов да Свердловых поддерживал! А что революция была неизбежна – вот это справедливо, ее

и Иоанн Кронштадтский предсказывал, прислушаться надо было... Так ведь полковник Романов фотографией изволил забавляться. Он тебе никого не напоминает?

Болховитинов подумал, пожал плечами.

– Ну как же, – продолжала крестная, – вылитый Louis Seize³, помилуй! Тому ведь тоже, прости Господи, корона шла как корове седло. Этот ночи напролет карточки проявлял, а тот замки сломанные обожал чинить, шкатулочки с секретом мастерил. И обоих бабы сгубили.

– Вы считаете, государыня действительно была связана с прогерманской партией?

– Да Боже упаси, сроду я этому милюковскому вранью не верила! Нарочно ведь клевета была пущена – царица-де и шпионка, и о сепаратном мире хлопочет... Вина ее в другом, хотя и не знаешь, чего тут больше, вины или беды. Распутинщина, срам этот весь – вот что на ее совести. Но ведь и тут надо понять – сам посуди, гемофилия только по женской линии передается, Алиса это знала, – легко ли ей было, не императрице уже, просто матери? Да всякая мать невменяемой станет, коли речь идет о жизни ребенка. Болезнь страшная, неизлечимая, европейские светила ничего не могли сделать, и единственный, кто у Алексея кровь умел заговаривать, это ведь Распутин. Так мудрено ли, что она на этого конокрада молиться стала!

– Конечно, по-человечески понятно, вы правы... Но не

³ Людовик XVI (фр.).

надо было конокрада к государственным делам допускать. Отец, помнится, говорил, что Распутин и в руководство войной пытался вмешиваться.

– А я тебе о чем толкую? Матерью она, может, была и хорошей, императрицей стать не сумела. Хотя, что значит – хорошей матерью... Все-таки, в конечном счете, она их всех погубила, тут ведь глянь какая цепочка вывязалась: не будь распутинщины, может, и революции такой не было бы, и подвала того в Ипатьевском доме...

– Революция все равно была бы, раньше или позже.

– Это-то ясно, просто по-другому бы ее сделали. По-людски, не по-звериному. Большевички твои себя показали, что и говорить. Больного ребенка расстрелять на руках у отца – до такого даже Робеспьеровы санкюлоты не додумались...

– Почему это они «мои»? – возразил Болховитинов.

– Да твои, не спорь, недаром тебя туда потянуло. Кого другого в Совдепию калачом не заманишь, хотя бы и при немецкой власти, а ты, вишь, помчался, задрал хвост. Ну, положи руку на сердце – худо там аль не очень?

– Во время войны всюду худо.

– Да я не про войну, полно дурнем-то прикидываться. До войны, спрашиваю, как наше любезное отечество жило-поживало?

– Трудно жило. По нашим понятиям – невероятно трудно. Но... – Болховитинов помолчал. – Чего-то я, наверное, до конца все-таки понять не сумел. Или увидеть. Потому что у

меня сложилось впечатление, что при всем при этом люди в массе были довольны своей жизнью. Про молодежь и говорить нечего, это понятно, но я познакомился там с одним инженером, немолодым уже человеком, так он с таким увлечением вспоминал о своей работе – видно, был счастлив. И тут же вдруг рассказывает с юмором, как каждую ночь ждал ареста, когда попересажали половину его коллег. Непонятно, в голове не укладывается – как это могло сочетаться... Люди словно какой-то двойной жизнью жили, ночью боялись, а днем радовались.

– Привыкли, стало быть, бояться-то, с восемнадцатого года обучаются. Да, терпелив русский человек, ничего не скажешь! Кому я завидую, так это французам, сантимщикам этим благоразумным – годика три тогда покуролесили, да и опомнились. А нам с российским нашим размахом и за полвека, боюсь, до термидора не дозреть. Ну, дальше рассказывай. Дома-то побывал?

– Нет, не удалось. Орел немцы объявили крепостью, там вокруг запретная зона была. Я не особенно и стремился, едва ли дом уцелел, да и не помню я его совершенно. Матушка говорила, мы оттуда уехали, когда мне четвертый год шел? Ничего не могу вспомнить, хотя иногда снится... окно высокое, от самого полу, а за окном зелень и солнце, и еще занавес белый, таким парусом... А больше ничего. Стоило ли пытаться увидеть, как это выглядит теперь?

– Да, ты прав, старые пепелища лучше не посещать. А эти

места, где ты работал, – тевтонов оттуда уже выгнали, так я понимаю?

– Пока нет, но думаю – скоро выгонят. Фирма наша уже свернула все работы на Правобережье.

– Лютовали они там?

– Где как... по-разному. – Подумаю, Болховитинов добавил: – В общем, меньше, чем в Польше, я бы сказал. Но я ведь сужу только по степной части Украины, где не было партизан. А в Белоруссии – и вообще севернее, где леса, – там страшные вещи творились, сами немцы этого не скрывают. Жгли, говорят, целые села, жителей расстреливали поголовно.

– Это они умеют, – крестная кивнула. – У нас вон тут тоже – Лидице, не слыхал? Да что эти, эти-то хоть язычники, эсэсовцы вообще неведомо какой нечистой силе поклоняются, религия у них своя, тайная, а в четырнадцатом году немцы себя вроде бы христианами именовали, а что в Бельгии творили? Да, не надо было тебе на службу к ним идти, нехорошо все-таки – дворянин, а служит у этих прохвостов. Да хоть и по гражданской части, что с того. Неужто тебе там этого не говорили?

– Говорили. По правде сказать, поначалу смотрели косо. Как только узнавали, что я русский, сразу какое-то отчуждение, настороженность, что ли. Ну, их можно понять, все-таки живой белогвардеец, – Болховитинов усмехнулся, помолчал. – Потом, если ближе знакомились, это уходило... так

мне казалось, во всяком случае. Вообще люди там довольно скрытны, раскрываются не сразу. Я как-то иначе себе представлял... знаете, все эти разговоры о «душе нараспашку». По Достоевскому, русский человек вообще только и знал, что либо сам исповедовался перед первым встречным, либо чужие исповеди выслушивал...

– Ну, Достоевский! Он без экзажерации не мог. Да и Россию-то описывал не ту, в которой ты побывал. Марксиды что говорят? – бытие, мол, определяет сознание, так мудрено ли было россиянам скрытными стать за это время. Но все-таки было у тебя ощущение, что ты среди соотечественников, или там вообще уже ничего не осталось?

– Да почему же не осталось, Господь с вами, очень много осталось. По правде сказать, я больше перемен ожидал найти. Когда поездишь по селам... а я ездил, нарочно интересовался, не упускал случаев. В воскресенье, например, да еще если где храм открыт...

– А ргoрoс, храмы-то открывать даже Советы нынче пустили, я слыхала, – заметила Варвара Львовна. – Что ж, в чем-чем, а в уме Сталину не откажешь! С церкви, вишь, опала снята, погоны вернули, чинопочитание... понял, видно, что на одном «грабь награбленное» далеко не уедешь. Прости, перебила я тебя – о чем ты говорил-то?

– Я говорил, что в селах атмосфера сохранилась на редкость какая-то... патриархальная, что ли. Посмотришь, скажем, на толпу возле церкви или на базаре, и так и кажется,

что это про них Бунин писал. С некоторыми поправками, конечно. Ну, вот хотя бы отсутствие мужчин призывного возраста. Мужчин мало, мальчишки да старики, а в целом – это какое бабье царство.

– И в ту войну то же было, мужика на Руси спокон веку не берегли. Ты-то что не женился, при таком раздолье? Год ведь там пробыл, было время приглядеть себе девицу. Иль сам не приглянулся?

– Выходит, не приглянулся, – с натянутой улыбкой ответил Болховитинов.

– Да ты не отшучивайся, я дело спрашиваю! Неужто так никого и не встретил?

– Встретил, да. Но... мне не хотелось бы об этом, – добавил он поспешно и тут же – в противоположность сказанному – почувствовал вдруг, что именно об этом хочется ему сейчас рассказать, во всех подробностях, включая даже совсем уж, наверное, незначительные. – История эта очень невеселая, знаете ли, и... непонятного в ней много, до сих пор не могу разобраться до конца...

– Да я, мой друг, веселые-то истории забыла уже, как и выглядят, без малого уж тридцать лет одни невеселые слышу. Но я тебя не неволю, понимаю, что об ином и рассказывать-то язык не поворачивается. Прости, коли печальное напомнила.

– Да нет, не в этом дело, оно ведь все равно ни на минуту... Может быть, даже и лучше, не знаю. Эта барышня,

она... служила там у них, в оккупационной администрации, была простой дактило⁴. Немецким владела, поэтому ее туда и взяли, наверное. Она мне, когда познакомились, тоже сказала что-то насчет моей службы у немцев, поэтому я очень удивился, встретив ее в комиссариате. Позже... когда мы уже знали друг друга лучше... она дала мне понять, что поступила туда по заданию подпольного руководства.

– С ума все походили, – неодобрительно заметила Варвара Львовна. – Конечно, мужчине иной раз другого ничего и не остается, но девки-то куда лезут? Да и не лежит у меня душа к этим аттентаторам, Господи прости, может, и святое дело они делают, а не лежит. Здесь ведь что творилось, когда они протектора-то имперского ухайдакали, думаешь, одной Лидице дело обошлось? Слыхала я, будто всего заложников было казнено десять тысяч душ, так стоила ли овчинка выделки? Ничего ведь к лучшему не изменилось, вместо Гейдриха другого ирода прислали, свято место пусто не бывает. Перебила я тебя, прости. Так барышня эта твоя тоже, говоришь, бомбы подкладывала?

– Нет, нет, что вы, этим они не занимались! Я, понятно, толком не знаю, все-таки она была со мной осторожна... до известной степени. Я понял так, что они молодых людей укрывали от депортации в Германию, выпускали листовки со сводками русского командования, в общем, в таком роде. Но риск был не меньший, по оккупационным законам это кара-

⁴ Машинисткой (фр.)

лось наравне с вооруженной борьбой, так что... – Он помолчал, потом добавил: – Она боялась этим заниматься, у нее были предчувствия.

– Так не лезла бы. Аль силком затянули?

– Да не могла, видно, не полезть... Знаете, бывают ситуации, когда иначе нельзя. Ну вот, а этим летом их группа провалилась. В первых числах июля – как раз началось Орловско-Белгородское сражение, я был в командировке в Виннице... никогда себе не прощу – будь я на месте, когда все это произошло, может, сумел бы как-то... не знаю. В общем, руководителя их застрелили при аресте, а потом другой член группы убил на улице областного комиссара и сам погиб. Я обо всем этом узнал, вернувшись из Винницы; естественно, спросил о Татьяне Викторовне – был там один офицер из остзейцев, он ее знал, – и оказалось, что она просто исчезла, сбежала, но куда и как... – Он пожал плечами. – У меня, впрочем, сложилось впечатление, что барон этот не все сказал, что-то у него в глазах было блудливое... Попытался выяснить через одного сослуживца, он человек порядочный, австрияк... но тоже безрезультатно. Знакомый гестаповец дал ему понять, что в эту историю лучше не лезть, слишком опасно. Дело в том, что юноша, убивший комиссара, жил в ее доме и был ее одноклассником...

– Как это – одноклассник?

– Да ведь в гимназиях там обучаются совместно.

– Ах да, не сообразила. Но помилуй, ежели она так близко

была связана с аттентатором, то, стало быть, ее сразу должны были арестовать?

– Ее и арестовали, – подтвердил Болховитинов. – Но не в городе, потому что накануне она уехала как переводчица с каким-то ревизором из Берлина. Ее арестовали по пути и отправили обратно в город, но она исчезла. Вместе с конвоиром, кстати.

– Экая кавалерист-девица, – Варвара Львовна покачала головой. – Еще и жандарма прихватила! Положим, верно и то, что иной раз со страху-то геройствовать и начинают. Да, друг мой, история невеселая, ты прав, но ведь могло и хуже обернуться? Так хоть надежда есть, да ты нос-то не вори, я знаю, что говорю! Николенька мой в четырнадцатом году пропал под Гумбиненом, а объявился в двадцать третьем в Софии, вот так-то. Сколько я по нему панихид за эти девять-то лет отслужила, ну-ка? Так что, может, и отыщется твоя Татьяна – как бишь ее по батюшке?

– Викторовна. И не моя она вовсе, у нее жених в действующей армии.

– Ну, жених, – крестная отмахнулась, – жених – не муж венчанный, что о женихах-то говорить. Да еще в военное время! А имя хорошее. Я думала, в Советах-то оно давно вывелось, не в чести, слыхала, как же, – Писарев-то, поганец, как Таню Ларину расшельмовал, а он же у них там в пророчках ходит... А вот и Палашка явилась, – сказала она вдруг, прислушиваясь. – слава те, Господи, она как пойдет по лав-

кам, так я места себе не нахожу – веришь ли, сколько лет тут со мной по заграницам мыкается, и ни словечка ни на одном языке. С лавочником только по-русски, да еще и коверкает зачем-то – так, говорит, им понятнее. И ведь понимают ее, что ты думаешь. Ну, сейчас кофий пить будет – ежели принесла. Палашка, окаянная, где ты там?

– Иду, иду, – ворчливо послышалось из-за двери. Вошла женщина неопределенного возраста, в темном платье до щиколоток, в шляпке по моде двадцатых годов – таких много можно увидеть каждое воскресенье возле православных храмов и в Праге, и в Париже, и в Брюсселе. Болховитинов, улыбаясь, встал.

– Здравствуйте, Пелагея Васильевна! Не узнаете?

– Ну чего уставилась! – прикрикнула Варвара Львовна. – Стыдно, матушка, барин тебя помнит, ты его – нет. Покойного Андрея Кирилловича, полковника Болховитинова, сын-нок.

– Как же-с, – Пелагея Васильевна заулыбалась, – как не помнить. Только покойник-то постарше были и при усах.

– Экое тонкое наблюдение, что отец сына старше, – заметила крестная, – ума у тебя палата, как я погляжу. Надо было тебе со своими в Совдепии оставаться, глядишь, уже и государством бы нынче управляла.

– Да ить вы, барыня, без меня бы тут пропали, – возразила Пелагея Васильевна, – кому вы тут нужны и на что вы годитесь.

– Ох Палашка, была ты змеей смолоду, в том же естестве и до старости пребываешь. Кофию-то принесла?

– Нету кофию, к завтраму только обещались. Я уж и к другому-то лавочнику заходила, что на Яновой улице.

– Есть у них, у спекуляторов, да, вишь, придерживают – цену набивают. Ну, что делать, суррогатом потчевать тебя не стану, сама не пью этой пакости. Завтра тогда приходи!

– Боюсь, крестная, завтра уже не смогу – отпуск мой на исходе, – соврал неожиданно для самого себя Болховитинов. – Завтра мне придется по разным присутственным местам, высунавши язык, бегать, бумаги выправлять на обратный проезд.

– Ну гляди, а то остался бы, задержался на недельку. Аль строго у вас с этим?

– Еще бы не строго, время-то военное...

Совравши, он почувствовал себя неловко и, поговорив еще с полчаса о том и о сем, с облегчением откланялся. Странно – то вдруг нестерпимо потянуло рассказать о Тане, а потом – так же внезапно – разговор сделался тягостным, мучительным. Словно ждал получить какое-то утешение и не получил... Потому и соврал, что уезжает; крестная и завтра продолжала бы спрашивать. Лучше держать в себе, как держал все эти месяцы. Но теперь что же – в самом деле уезжать, раз уж сказал?

Придется, видно. У него оставалась еще неделя отпуска, он рассчитывал провести ее здесь, а теперь придется возвра-

щаться в опостылевший Дрезден. Иначе может получиться неловко – встретит кого-нибудь из общих знакомых, а тот потом ляпнет ненароком крестной – видел, мол, третьего дня Кирилла Болховитинова...

На улице, пока он сидел у Варвары Львовны, похолодало, ветер рвал с каштанов желтые листья, они кружились, словно спеша в последний раз испытать чувство свободы – прежде чем припечататься к мокрому асфальту. Болховитинов пожегся, поднял воротник плаща. Черт его тогда надоумил подписать этот проклятый контракт!

Но кто же знал, кто мог предполагать... Тогда, в сорок первом, война выглядела совсем иной (тем более – если наблюдать ее, сидя в Париже), немцы – казались не столько врагом, сколько обычным противником – ну, как в четырнадцатом. И противником, достойным уважения; разгромив более сильную Францию по-цезарски молниеносно – *veni, vidi, vici*⁵, – они на первых порах вели себя в оккупированной стране вполне корректно (о том, что уже тогда творилось в Польше, стало известно значительно позднее). Ему самому воевать пришлось недолго, всего неделю, но то, чего он насмотрелся перед этим, во время постыдного фарса *drole de guerre*⁶, не могла укрепить его симпатий к Третьей республи-

⁵ «Пришел, увидел, победил» (лат.) – знаменитое донесение Юлия Цезаря сенату.

⁶ «Странной войны» (фр.).

ке. Нет, он был к ней лоялен и дрался за нее, надо полагать, не хуже других, но не мог не понимать, что войну она проиграла уже заранее, не сделав еще ни одного выстрела, просто не могла не проиграть – такая, какой стала к тому времени – кагуляры, аферисты, разные устрики и стависские, а тут еще лавали и даладье, и бездарное военное руководство во главе с маршалом-пораженцем...

А в немцах – так ему тогда казалось – было, напротив, что-то здоровое. Гитлер, понятно, проходимец, да еще и шут гороховый с этими своими римскими жестами, «мистикой крови» и факельными шествиями, – но чем-то он, очевидно, сумел привлечь нацию, коли она за ним пошла... Вообще вести из Германии до войны приходили разные, разобраться было не просто.

Многим из побывавших в Берлине на Олимпийских играх новая немецкая действительность скорее понравилась: прекрасные дороги, порядок, чистота, полиция безупречно предупредительна, на улицах не видно ни безработных, ни нищих. С другой стороны, было известно, что свободомыслие там не в чести: неуютные нацистам книги публично сжигаются на площадях, а за открыто высказанное несогласие с главой государства можно угодить и на «перевоспитание», в особый лагерь. Подобные факты аттестовали нацистский режим не с лучшей стороны, но Болховитинов склонен был видеть в этом скорее общую тенденцию, так сказать, дух времени, нежели специфический порок национал-социализма.

В Советском Союзе, что ли, позволено возражать Сталину? Да и книги негодные там тоже давно изъяты из обращения, хотя в Москве никто спектаклей с кострами не устраивал – только и разницы...

А иногда ему вообще казалось, что, может, это и правильно. Государство, если оно хочет быть сильным (а быть слабым государству противопоказано, семнадцатый год доказал это в России, а сороковой – во Франции), не должно, наверное, позволять себе излишней терпимости в вопросах внутренней политики. В принципе, конечно, легальная оппозиция нужна, без нее любой режим рано или поздно вырождается в беззаконие; но где границы разумно-допустимого? У нас при последнем государе поносить правительство мог безнаказанно кто угодно – от депутатов Государственной думы до борзописцев из «Сатирикона». Какой-то юмористический журналчик – отец, помнится, рассказывал – вышел однажды с таким рисунком на обложке: голая задница в российской императорской короне. И что же? – полиция конфисковала тираж, издатель отделался штрафом... А Милюков со своей знаменитой речью «Глупость или измена?»...

В этих вопросах путались до войны не только молодые эмигранты, единого мнения не было и среди старших. Одни считали, что Россию погубили Романовы, другие винули либералов, кадетов, вообще «присяжных поверенных». Как ни странно, большевиков винули меньше – с тех, мол, чего взять, недаром в запломбированном вагоне прибыли...

Полковник Болховитинов споры на эту тему считал пустой болтовней: чем бесплодно копаться в прошлом России, считал он, лучше постараться определить свое отношение к ее настоящему. Сам он относился непредвзято, никогда не был «большевизаном», каковым его некоторые считали, но не разделял и махровой непримиримости «зубров». Кирилл Андреевич потом горько жалел, что разлучился с отцом в тридцать четвертом году, вскоре после смерти матери; отец, возможно, помог бы ему лучше разбираться в жизни. Но уехать из Праги тогда пришлось, для него открывалась возможность поступить в Париже в весьма привилегированное инженерное училище – вообще, туда принимали только французов, но допускался и небольшой процент иностранцев – дети тех, кто имел перед Францией особые заслуги. Поскольку в свое время Болховитинов-старший успел повоевать на Западном фронте в составе русского экспедиционного корпуса и был награжден Большим крестом Почетного легиона, один из его фронтовых друзей, занявший потом при Думерге довольно видный пост в военном министерстве Петена, устроил Кириллу эту протекцию. Пренебречь ею было бы неразумно – уж что-то, а безработица выпускникам Ecole Polytechnique не грозила.

Они переписывались до самой смерти отца незадолго перед войной, и почти в каждом письме отец делился с ним мыслями о происходящем в России. Оценки, конечно, были приблизительны – вести доходили противоречивые, многое

приходилось домысливать; но в целом, считал отец, дела там налаживаются, большевики и впрямь оказались хорошими организаторами. «Может быть, даст Бог, – писал он, – отучат матушку-Русь от исконного нашего разгильдяйства, за одно это многое им можно простить...»

Увидев вывеску знакомой по давним временам корчмы, Болховитинов почувствовал вдруг, что устал и проголодался. Вошел, в маленьком зальце было пусто, через минуту неслышно появился немолодой кельнер. Болховитинов осведомился о здоровье пана Алоиза и, узнав, что пан Алоиз уже два года как преставился, выразил сочувствие и спросил что-нибудь поесть, добавив, что заплатить может рейхсмарками. Кельнер оживился, заговорщицки понизил голос:

– Шпикачки пана устроят? Ну, и хорошее пиво, само собой, из ограниченного запаса – для настоящих клиентов...

Болховитинов огляделся: все было как прежде, в давние времена, когда они захаживали сюда с отцом (каникулы он всегда проводил в Праге).

Да, будь тогда жив отец, возможно, он как-то иначе воспринял бы начало войны. Он ни на миг не допускал возможности окончательной победы Германии, это было исключено; но что советский режим рухнет неминуемо, поверил – довольно скоро, уже где-то в середине июля, когда пал Смоленск. Крах сталинской системы казался неизбежным и закономерным: режим, который накануне войны обезглавил армию, казнив всех талантливых военачальников, – этот ре-

жим нес прямую вину за самое страшное военное поражение в истории России. Казалось, какой народ стерпит, не возмутится, не призовет к ответу за миллионы погубленных солдатских жизней... Он был тогда уверен, что это произойдет не сегодня-завтра – скорее всего, с падением Москвы. Появится какое-то новое правительство, условия мира наверняка будут тяжелейшими, немцы своего не упустят, но России ли привыкать к трудностям? Сдюжила и татар, и Смутное время, неужто теперь сил не хватит!

С этой мысли, наверное, все и началось. Сил у отечества должно хватить, но понадобятся они все, искони строилась Русь миром, соборно, – значит, теперь как никогда всем русским надо быть вместе, на своей земле, которую придется отстраивать, подымать из руин и пепелищ небывалого разорения...

В Париже многие тогда засобирались, но по-разному. Одним просто хотелось поклониться родной земле, другие (их, правда, было мало) всерьез верили в то, что немцы допустят эмиграцию к кормилу власти, и уже завидовали генералам-берлинцам Краснову, Бискупскому, фон Лампе – те ближе, могут и обскакать. Иные спешно переводили на немецкий язык и заверяли у нотариусов полуистлевшие в чемоданах акты на владение и купчие крепости, гадая – цела ли брошенная в семнадцатом году усадьба, не снесен ли большевиками родовой особняк на Пречистенке, не угодит ли бомба или тяжелый снаряд в доходный дом на Каменноостров-

ском...

А ему не терпелось поскорее попасть домой, чтобы работать, и казалось, сама судьба безошибочно ведет его куда надо. Случайно ли было, что в Политехническом он попал на строительное отделение, стал гражданским инженером? А та непредвиденная задержка в Дрездене – тоже «случай»?

Отец умер весной тридцать девятого года, когда в Праге уже были немцы, и возможность посетить могилу представилась Болховитинову лишь в сентябре сорок первого. Ехать пришлось кружным путем, через Берлин, с пересадкой там на венский поезд; десятиминутная стоянка в Дрездене почему-то затягивалась, прошло пятнадцать минут, потом двадцать, пассажиры громко возмущались неслыханным безобразием, наконец в купе заглянул кондуктор и объявил, что отправление поезда задерживается на два с половиной часа. «Военные перевозки», – объяснил он многозначительно, понизив голос, и посоветовал дамам и господам выйти в город, прогуляться. Сидеть в душном вагоне и впрямь не было смысла, он вышел, спустился вниз и на привокзальной площади нос к носу столкнулся с Димкой Извольским – когда-то учились вместе в пражской русской гимназии.

Димка, оказывается, уехал тогда в Германию сразу после получения «матуры» – думал учиться дальше, но с этим не вышло, окончил коммерческие курсы и теперь работал в одной строительной фирме агентом на процентах. Зашли в пивную там же, на углу Прагер-штрассе, обменялись воспо-

минаниями, а потом, под конец разговора – ему уже пора было возвращаться на вокзал – Димка сказал вдруг, что фирма получила крупный подряд через концерн «Централь-Ост» – будет строить дороги на оккупированных территориях Востока и теперь ищет инженеров, желательно со знанием русского языка.

– Слушай, а почему бы тебе не попробовать, а? – спросил он. – Чего тебе там у лягушатников околачиваться? Меня, честно говоря, в любезное отечество не тянет, но ты ведь, помнится, был из патриотов...

Вот так оно и получилось, понимай, как знаешь – судьба или «его величество случай». Неделей позже, вернувшись из Праги, он подписал контракт, зиму провел в Дрездене, знакомясь с работой и подучивая основательно забытый немецкий, а летом сорок второго был уже на Украине.

Но к тому времени все изменилось, ход войны оказался совсем не таким, как можно было предположить год назад. Сталин не только удержался у власти, но и, судя по всему, укрепил свой авторитет. Видимо, к советскому обществу были уже действительно неприменимы старые мерки, какими еще по привычке пользовались в эмиграции.

В Энке он пытался говорить об этом с некоторыми людьми, но безуспешно, его просто не понимали. Сначала – и это было естественно – с ним боялись откровенничать, как-никак он был из эмигрантов, да еще на службе у немцев, потом недоверие постепенно растаяло, но все равно – обще-

го языка по-настоящему не находилось...

Говорить на эти темы было трудно, боялся быть неправильно понятым, показаться таким свысока судящим иностранцем. Однажды так оно и получилось, когда он – вспомнив один довоенный фильм, где будущая война рисовалась в шапкозакидательских тонах, – выразил недоумение, что подобная ахинея могла восприниматься всерьез. Хозяин дома, похоже, почувствовал себя задетым. Такие фильмы и книги, объяснил он, были нужны и делали полезное дело, все эти годы нам здесь слишком многим приходилось жертвовать, поэтому понятно, что людям нужно было внушать бодрость, веру в свои силы...

Сталина, как ни странно, за катастрофическое начало войны не винил почти никто – говорили о вероломстве Гитлера, о внезапности нападения, это тоже было непонятно: какая «внезапность», какое «вероломство»? Ведь Гитлер с самого начала своей политической карьеры открыто призывал к завоеванию жизненного пространства на Востоке, или советские люди всерьез поверили пакту 39-го года?

Впрочем, особого преклонения перед Сталиным – такого, какое все сильнее ощущалось в радиопередачах из Москвы (он слушал их постоянно), – в оккупированном Энске тоже не было. Не исключено, конечно, что оно скрывалось. «Отца народов» даже поругивали, но больше за прошлое – за раскулачивание, за массовые аресты, хотя и признавали, что кулаки мешали колхозному строительству, а вредителей и оп-

позиционером тоже было много – так что некоторых сажали и за дело...

Да, не просто было общаться с соотечественниками, крестная (до чего пронизательная старуха!) не зря задала этот вопрос. А он, отвечая, все-таки pokrивил душой – в Энке ему то и дело приходилось спотыкаться о барьер некоммуникабельности, возникавший вдруг по самому непредвиденному поводу. Но рассказывать об этом не хотелось, могло сложиться неверное впечатление – будто он осуждает тамошних людей. Он не осуждал их, чувствовал себя не вправе судить, он их порой просто не понимал.

Кельнер принес наконец обещанные колбаски и пиво, подошел к бормочущему едва слышно радиоприемнику и усилил звук. Передавали последние известия, сводку ОКБ: в Северной Атлантике подводные лодки продолжают атаковать обнаруженный вчера конвой, потопив еще 5 судов в 76 000 брутто-регистрационных тонн, при отражении массированного налета американской авиации на Швейнфурт сбито 62 «летающих крепости», на Восточном фронте войска группы «Юг» ведут тяжелые оборонительные бои в секторе Мелитополь – Запорожье...

Запорожье, подумал Болховитинов, это же совсем недалеко от Кривого Рога... а в Кривой Рог, помнится, он доезжал часа за три. Да, скоро их попрут и оттуда. Возможно, Таня скрывается где-то в тех местах, в одном из окрестных сел. Если староста – приличный человек (такое бывает, ему

часто рассказывали), ей вполне могли обеспечить надежное укрытие на несколько месяцев. Но тогда, выходит, ему тоже лучше было уйти в подполье, остаться в Энке до прихода Красной Армии? Вздор, для него этот путь закрыт. Эмигрант, служивший у немцев, – там не стали бы разбираться, в качестве кого. А для Тани, если она действительно там, такое знакомство после освобождения оказалось бы скорее компрометантным.

Как все рухнуло – внезапно, непоправимо... Еще этой весной он был в России, его там приняли, не относились к нему как к чужаку. Танины друзья не отвергли его помощь, а она сама – о, он нисколько не заблуждался на этот счет, с ее стороны не могло быть ничего, кроме короткого увлечения. Когда она попросила не встречаться больше, это не было для него неожиданностью, в сущности, он давно был готов к такому повороту их отношений; Таня – такая, какая была для него, воплощение чистоты и верности, – она просто не могла поступить иначе, и в тот памятный вечер он окончательно почувствовал, что жить без нее не может. Нет, он даже не о том думал, что вдруг жених не вернется и тогда, может быть, – нет, ему было достаточно, что она здесь, рядом, и что он сможет хоть иногда, издали увидеть ее, не попадаясь на глаза... Впрочем, к чему хитрить, наверное, была и надежда – а вдруг все переменится? Вот и переменилось.

Если исключить худшее (о Танином аресте так или иначе стало бы известно, скорее всего, ее привезли бы в Энск, с

чего бы немцам делать из этого тайну), если она тогда спаслась, то или прячется в тех же местах, или – это более вероятно – постаралась уйти на восток, навстречу фронту. Здесь, во всяком случае, ее искать бессмысленно. Да и как искать? Во вражеской стране, где все под запретом, все засекречено, где и немец не имеет права свободно поехать куда ему надо по своим делам, – немыслимо, безнадежно, об этом и думать нечего...

Больше шансов найти ее после войны там, в России. Но кто его туда пустит? Разве что изменится политика в отношении «бывших белых» – или их детей хотя бы. Изменилось же там многое за два года войны, крестная права – это все-таки какое-то примирение с прошлым, известный компромисс. По логике вещей, так оно и должно быть, русский солдат умирать привык за Россию, не за какой-нибудь там Третий Интернационал – не зря Коминтерн нынешним летом разогнали, как раз перед Орловско-Белгородским сражением...

Жаль, что наше поколение так неромантично, подумал он, отец рассказывал о ком-то из Болховитиновых, даже не очень давних, времен Отечественной войны, – тот всю жизнь любил замужнюю женщину, издалека, видевшись с нею дважды в жизни. Первый раз на придворном балу, а второй – десять или пятнадцать лет спустя. Имение ее было в Виленской губернии, он нарочно испросил себе какое-то дипломатическое поручение в Париж – для того лишь, чтобы на обратном

пути его коляска сломалась где надо и можно было заехать к ней в усадьбу под не вызывающим подозрений предлогом. Так и не женился, и всю жизнь – говорят – был по-своему счастлив своим безответным обожанием. Будь я таким, как тот мой пра-пра, мне тоже должно было бы дозреть одного сознания, что она есть, она где-то живет... Впрочем, ведь нет и этого, вот что самое ужасное. Знать хотя бы, что она тогда действительно спаслась!

Глава третья

Уже позднее, на медсанбатовской койке, разорванно вспоминая все случившееся, Дежнев задним числом понял, что иначе случиться и не могло, и он подсознательно, нутром знал, что так оно и будет. Никто, понятно, не мог предположить, что именно под Александровкой немцы нанесут такой мощный удар с фланга, но что они обязательно попытаются контратаковать именно где-то здесь и теперь – было очевидно. Форсирование Днепра прошло быстро и почти без потерь, но на правом берегу завязались тяжелые бои, тут уже потери были большие, а со снабжением становилось все хуже. Погода, так долго стоявшая сухой и солнечной, в середине октября наконец испортилась, пошли затяжные дожди, а места здесь были черноземные – грунтовые дороги развезло так, что даже «студебекеры» увязали намертво, по самый дифер. В войсках сразу же начала ощущаться нехватка боеприпасов, горючего, продовольствия. Немцам – хотя их рассчитанная на асфальты техника и вовсе не справлялась с бездорожьем – все-таки проще было обеспечить передовую хотя бы боеприпасами, в обороне это всегда проще.

Капитан Дежнев со своей батальонной колокольни не мог, понятно, судить, право ли было командование, требуя не снижать темпов продвижения, или разумнее было приостановиться, подтянуть тылы, восполнить потери – и двинуть

дальше с новыми силами. Но что в этих обстоятельствах наступать практически вслепую было нельзя, это и взводному понятно, да что там взводный – любой солдат сообразит, что лучше не переть на рожон, если не знаешь хотя бы приблизительно, что там впереди делается.

Тут, конечно, было особое обстоятельство – приближались Октябрьские праздники, а к такой дате надо, чтобы было о чем доложить. Как же иначе? Ставка ждет праздничного доклада от фронта, фронт – от армии, армия – от дивизии, и дальше до самого низу, до четырех рот 2-го батальона 441-го мотострелкового полка. Говорили, что соседнему фронту – 1-му Украинскому, который по старой памяти все еще называли Воронежским, – приказано к 7 Ноября овладеть Киевом; это, само собой, обязывало к чему-то и войска 2-го Украинского.

5-я гвардейская армия после прорыва фронта отвернула вправо, расширяя проделанную в обороне противника сорокакилометровую брешь и прикрывая фланг главной ударной группировки, брошенной на Кривой Рог. В полосе армии никаких особо важных целей впереди не лежало, здесь можно было отличиться к празднику, только освободив побольше населенных пунктов – пусть хотя бы и никому не известных, разве в этом дело. Поэтому установка была простая: давай жми.

Они, соответственно, и жали. Батальону Дежнева в тот день была поставлена задача овладеть Александровкой –

небольшим, ничем не примечательным поселком при железнодорожной станции того же названия, давно уже раздолбанной «кукурузниками» и наверняка не представлявшей для немцев особой ценности. Оборона на подступах была обычная, без признаков усиления, и неожиданностей не предвещала.

Единственное, что тревожило комбата, это погода, с самого утра, как назло, снова летная. Последние дни лило как из ведра, облачность оставалась обложной, низкой, и в воздухе было спокойно – ни немцев, ни своих.

На своих, положим, здесь и не рассчитывали: все наличные силы двух воздушных армий действовали севернее, на Киевском направлении, и южнее – на Криворожском.

И предчувствие не обмануло – недаром так гладко все шло с самого начала. Они уже были в Александровке, которую немец по обыкновению успел перед отходом подпалить с одного конца, и прочесывали улицу за улицей, подбираясь к станции; было солнечно и холодно, резкий северо-восточный ветер – он-то и разогнал ненастье – нес удушливый едучий дым, клочья горящей соломы, пепел. Дома были пусты, это тоже выглядело привычным, здесь, на Правобережье, при приближении фронта угонялось на запад все местное население, от старых до малых; приказы покинуть прифронтовую полосу можно было видеть на стенах домов почти в каждом освобожденном местечке. Жители оставались лишь там, откуда немцев вышибали так быстро, что у них

не оставалось времени провести все запланированные мероприятия. Но чаще они успевали.

Налет ударил, как всегда, внезапно, хотя нельзя сказать, чтобы неожиданно; опрометью выскочив из хаты, куда только что перебрался батальонный КП, Дежнев едва успел подумать – ну вот, с утра чувствовал! – как его оглушило грохотом и накрыло мгновенной ревущей тенью. Хата вспыхнула сразу, как облитая бензином, – хорошо еще, только с крыши; уже лежа в грязи, он с облегчением увидел, как из окна вместе с обломками рамы вывалился кубарем радист, вроде целый и невредимый, в обнимку со своим «Севером». Командир взвода связи выпрыгнул следом за ним, тем же путем, а начштаба выбежал из двери, на бегу заталкивая за пазуху кое-как свернутую карту.

Головастые «фокке-вульфы» прошли совсем низко, понад самыми тополями, почти рубя винтами их голые, как метлы, верхушки; тоже научились подкрадываться на малых высотах, бредут не хуже наших ИЛов. Дежнев заорал связистам, указывая на погребок в стороне от хаты, -туда, мол, туда ныряйте! – и почти сразу, едва успели стихнуть вдали моторы истребителей, послышались гулкие удары танковых пушек. Впрочем, тут в его воспоминаниях четкости не было, возможно, и прошло какое-то время – самолеты заходили на штурмовку еще дважды, пожалуй, все-таки танки появились позже. Радист успел наладить свое хозяйство и уже вызывал полк, когда комбат вылез из погребка и увидел, как скособо-

чился и поехал в сторону, разваливаясь, угол соседней хаты, а из-под осевшей крыши выдвинулась осыпанная саманным крошевом и соломой корма одного из приданных батальону двух легких Т-70. Танк крутнулся, довершая разрушение, из люка высунулся чумазый башнер и, увидев подбегающего комбата, стал кричать осипшим голосом, что немец за станцией, жмет вдоль полотна, а сколько – хрен его знает, он видел три «пантеры», может, их там и больше, – и на этом для капитана Дежнева все кончилось, он только успел ощутить, как туго и беззвучно ударило сзади волной обжигающего жара, – и очнулся уже неведомо где, ничего не соображая.

Сообразил позже, начав осознавать окружающее – сперва обонянием и на слух. Он был в помещении, рядом кто-то постанывал, кто-то слабым голосом просил пить, еще один бормотал невнятное, видно, в забытьи; а разлило в помещении карболкой и йодоформом, вместе с другими, обычно сопутствующими им запахами неоспоримо госпитального свойства.

Вот те, бабушка, и Юрьев день, подумал он тоскливо, боясь еще пошевелиться и разбередить притаившуюся неведомо где боль, а то и – того хуже – обнаружить в себе какую-нибудь недостачу. Отважившись все-таки, с облегчением убедился, что руки-ноги на месте и даже функционируют, хотя и с трудом. Вот голова стала вдруг болеть невыносимо, но не так, как может болеть рана, а по-другому, по-мирному. Да и не было на голове повязки, это он тоже проверил. Выходит,

контузия?

Догадка подтвердилась после разговора со строгой майоршей медслужбы, которая сказала, что хотя случай и легкий (так, по крайней мере, выглядит), но лучше бы все же подлечиться в тылу – эти контузии штука коварная, не всегда можно предсказать последствия.

– Вот еще, – возразил Дежнев, – с такой ерундой в тыл, вы уж меня, доктор, не конфузьте.

– Ну, если ты так хорошо разбираешься в медицине, – майорша, не поддержав шутливого тона, пожала плечами, – настаивать не буду, выпишем, и геройствуй на здоровье.

Тоже мне, дуреха, подумал он неуважительно, когда врач ушла. Простых вещей не соображает! При чем тут геройство? Из тылового госпиталя направят в офицерский резерв, оттуда вообще неизвестно куда попадешь – а ему надо вернуться в свой полк. «Геройствовать» все равно придется до самого Берлина, вопрос – с кем? Здесь он всех знает, его знают, в батальоне порядок, с ротными полное взаимопонимание – притерлись, приработались. А как на новом месте будет? Нет уж, спасибо, от добра добра не ищут...

В начале ноября капитана Дежнева выписали. От сослуживцев, навещавших его в госпитале, он уже знал, что батальон тогда в Александровке трепанули, но не так чтобы очень, могло быть хуже. А вообще дела фронта выглядят не блестяще, немцам удалось восстановить оборону, Кривой Рог все еще в их руках. Танкисты Ротмистрова там, прав-

да, побывали, но лишь наскоком – израсходовали боезапас в уличном бою, а горючего в баках едва хватило, чтобы отойти, снова сдав город противнику. У соседей успехов больше – войска 3-го Украинского освободили Днепропетровск, а под Киевом бои уже на самых подступах. Тем-то будет о чем рапортовать к празднику!

День, когда Дежнев возвращался в полк, был ясный, с крепким уже утренним морозцем. Предъявив на КПП свои документы, он узнал, что машина в нужном ему направлении должна скоро быть, и устроился под навесом, где сидели и покуривали другие, тоже ожидающие попутного транспорта. Знакомых среди них не оказалось, разговоры шли обычные – о вестях из дому, об ожидающихся к праздникам повышениях и наградах, двое лениво спорили о недавно учрежденном ордене Богдана Хмельницкого – будут ли его давать всем или только участникам боев на Украине. КПП был расположен в редкой дубовой роще, такие же дубы – огромные, кряжисто раскинувшие свои могучие, словно из камня вырубленные ветви, – встречались и под Энском, в Казенном лесу – говорили, что когда-то он вообще был сплошь дубовым, чуть ли не Петр его насадил для нужд корабельного строения, оттуда и название. Поздней осенью, когда уже давно облетят и тополя, и березы, исполинские эти дубы долго еще – иной год всю зиму напролет – желтели тусклой, словно ржавчиной подернутой упрямой жесткой листвой. Эти вот тоже не облетают, держатся.

Если и дальше пойдем в том же темпе, подумал он, то, может, к Новому году... Подумал так, как привык думать об этом последние месяцы: спокойно, без прежнего замирания сердца. Непонятно – сам ли очерствел настолько, что уже не способен чувствовать в полную силу, или просто выработался тот инстинкт душевного самосохранения, который не дает фронтовику размягчаться воспоминаниями о другой, мирной жизни. Здесь ведь не только вспоминать нельзя, но нельзя позволять себе даже думать о судьбе близких – иначе конец, не выдержишь, самая крепкая психика сдаст под двойной нагрузкой.

Зимой сорок первого, когда он был под Москвой и со дня на день ждали, что немцы возьмут Тулу, – разве мог он себе позволить думать о матери, о сестре, – что будет с ними, если и они окажутся в оккупации? Нет, тут определенно есть какой-то предохранитель.

Но что война развитию чувствительности не способствует, это тоже верно. Грубеет ли на войне человек, черствеет или закаляется духом, сказать трудно. У всех, наверное, по-разному, а себе диагноза не поставишь. Лестно, конечно, думать, что закалился, хотя на самом деле, может, просто сердце закаменело. Поди разбери!

Наверное, если увидел бы Таню – если суждено им увидеться, – наверное, все прежнее вернулось бы. Ну, возможно, чуть по-другому – но вернулось бы. А пока... Пока и представить себе трудно – настолько все это далеко, настолько

не связано с действительностью, настолько уже неправдоподобно.

Его окликнули, Дежнев затоптал окурок, встал, бросил через плечо полупустой вещмешок. Возле ободранной ЗИСовской трехтонки, стоящей у шлагбаума, старшина с повязкой регулировщика проверял бумаги у девушки с погонями сержанта.

– Вот, товарищ гвардии капитан, и попутчица вам нашлась, – сказал он, возвращая девушке документы, – ей туда же.

– Давай тогда в кабину, сестричка, – отозвался Дежнев и забросил вещмешок в кузов, – а то на ветру нос отморозишь.

– Что вы, товарищ гвардии капитан, – возразила она, – я лучше наверх, вы ведь из госпиталя!

– Давай-давай, не спорь со старшим по званию, – он легонько подтолкнул ее к машине, но было уже поздно – объявился еще один попутчик. Из помещения КПП вышел немолодой тучный майор, спросил у водителя, не в хозяйство ли Прошина едет, и полез в кабину, бесцеремонно оттеснив продолжающих препираться капитана и сержанта.

– Вот вопрос и решен, – Дежнев подмигнул, забрался в кузов и, протянув руку попутчице, помог вскарабкаться и ей. – Другой раз умнее будешь! Может, из кабины он бы тебя не выгнал, если бы уже сидела.

– Выгнал бы, – она тоже понизила голос, улыбнулась. – Не задумываясь, выгнал бы, я таких встречала. Не беда, сегодня

не так уж холодно и дождя нет, а сесть можно вон на мои газеты, – она указала на два перевязанных бечевкой тючка в передней части кузова.

– Газеты? А я думал, ты из медперсонала, – сказал Дежнев.

– Нет, я в дивизионке вашей.

– Журналистка, значит.

– Какая там журналистка, на машинке просто стучу. А иногда вроде курьерши, сегодня вот это вызвалась отвезти – все оказались в разгоне, а мне нужно у Прошина в полку побывать, у меня там знакомый...

В кузов между тем погрузили еще несколько ящичков, бросили мешок с почтой, и машина тронулась. Трое бойцов, сопровождающих груз, остались у задней стенки кузова, Дежнев с попутчицей сидели на тючках с газетами у передней, спиной к кабине. Встречного ветра, впрочем, не было, старая трехтонка катила по разбитому грейдеру не спеша, но так при этом лязгала, поскрипывала и шаталась, будто могла развалиться на следующем ухабе.

– Дружок-то твой где, при штабе? – спросил Дежнев немного погодя, просто чтобы не сидеть молча.

– Что? А, нет-нет. Он артиллерист, командир... батареи, если не ошибаюсь. Я иногда путаю. Но вы, наверное, не так меня поняли, он не «дружок» мне – если вы это в том смысле употребили, как обычно употребляют... Просто хороший знакомый, давний, еще по Ленинграду...

– Так вы тоже оттуда? Я когда ленинградцев встречаю, всегда такое чувство, вроде земляка увидел.

– А вы...

– Да нет, сам-то я никогда там не был! Но к Ленинграду у меня особое отношение, даже не знаю... Началось, может, с того, что у меня там в ваших краях брат погиб. Не в эту войну, а раньше – помните, с белофиннами был конфликт... В Выборге его убили, под самый конец. Ну, и потом я после школы к вам туда собирался, учиться там думал.

– Хорошо, что не попали... Впрочем, вы-то там все равно не остались бы. – Попутчица помолчала, подняла воротник шинели – выбравшись на более ровный участок дороги, водитель прибавил скорости, и поверх кабины стало задуть. Потом сказала негромко, словно думая вслух: – Мужчинам вообще легче пришлось... молодым мужчинам, я хочу сказать. Для ленинградцев, которые ушли на фронт, это было просто спасение... Я и про тех говорю, кто погиб.

– Ну, уж про тех о «спасении» говорить не приходится, – возразил Дежнев. – Вообще на фронте бывает легче, чем в тылу, тут я не спорю. Особенно когда про того подумаешь, кто остался в оккупации. Ну а уж кто погиб, так какая разница – где и как...

– Очень большая разница, на фронте умирают легко и быстро... Я не говорю про какие-то особенно мучительные ранения, это дело другое.

– Насчет того, как умирают на фронте, я мог бы кое-что

рассказать, – Дежнев усмехнулся, – опыта у меня, думаю, побольше вашего.

– Не стоит меряться опытом, капитан, у каждого он свой, и со стороны не сравнишь. Вы счастливый человек, если не знаете, что бывают такие... обстоятельства, когда можно завидовать мертвым. Муж мой погиб на фронте в первый месяц войны, а вся его семья... Исключая меня, я тоже к тому времени ушла исполнять «священный долг», и тоже добровольно, как и он... Так вот, семья наша – вся целиком – вымерла от голода в начале сорок второго года. А я жива, как видите. Как по-вашему, кто кому может завидовать?

Дежнев, промолчав, искоса глянул на нее более внимательно – она сидела, прикрыв щеку поднятым воротом шинели, не оборачиваясь к собеседнику. Он увидел теперь, что она старше, чем показалась на первый взгляд, в углу глаза были даже едва заметные – лучиками – морщинки, а он читал где-то, что это безошибочно выдает женщину не первой молодости; возможно, ей было уже и за двадцать пять.

Еще помолчав, он спросил: не Игнатьев ли случайно фамилия ее знакомого артиллериста? Она сразу обернулась к нему.

– Да, Павел Дмитриевич Игнатьев, а вы тоже его знаете? Как вы догадались?

– Ну, просто подумал вдруг – артиллерист, из Ленинграда, бывают же совпадения...

– Да, это он, а вы давно с ним познакомились?

– Их к нам под Кременчугом прислали...

Он сразу, как только она сказала про мужа, вспомнил один разговор с Игнатьевым – тот рассказал о своей знакомой из Ленинграда, бросившей в блокаде грудного ребенка. Ну, не в блокаде, строго говоря, потому что тогда блокады еще не было; но все равно, бросила на стариков – и хвост трубой. Так это, значит, она и есть, мать-героиня...

– Мне почему захотелось его увидеть, – продолжала она, – просто порадоваться вместе, поздравить, у него ведь сын нашелся – вы не знаете еще? Ну да, вы же в госпитале лежали, – нашелся его Димочка, он получил письмо от сестры, разыскала-таки, можете себе представить?

– Вот это здорово, – сказал Дежнев, – новость не слышал, а что сына он разыскивал – это я знал, он мне говорил.

– Да, представьте, отыскала в одном из детдомов для эвакуированных, просто чудо, – она вздохнула и добавила почти тем же тоном, словно сообщая о чем-то постороннем: – А мои вот так и не смогли эвакуироваться, сначала не хотели, а потом стало уже поздно. Мишеньке нашему было бы теперь уже три с половиной годика.

Дежнев помолчал, потом сказал, глядя на убегающую назад дорогу:

– Мне старший лейтенант Игнатьев вашу историю рассказывал... не называя имени, понятно. И если вас интересует, что я тогда подумал, могу сказать: подумал, что жаль, нельзя за такое под трибунал.

– Несправедливо это было бы, капитан.

– Вы еще о справедливости можете говорить?

– Как раз я-то могу. За такое не под трибунал надо, трибунал самое большее может расстрелять; за такое надо оставлять жить, вот как я живу – в трезвом уме и здравой памяти. Понимаете? Да где вам понять, давайте лучше оставим эту тему.

– Не я ее затронул.

– Знаю, знаю, затронула я, со мной случается.

Некоторое время ехали молча, потом он сказал:

– Вообще-то... вы правы, наверное, понять со стороны нельзя, а поэтому нельзя и судить. Вроде бы так, но с другой стороны...

– И что же с другой?

– Нет, это я не то совсем хотел. Словом, если у меня грубо получилось насчет трибунала, то извините. Я просто сказал, что подумалось – тогда, сразу. Вам-то напрямик не следовало, наверное.

– Ну почему же, меня ваша прямота не задела. Что мне до мнения других? Видите, я откровенна не меньше вашего... Я раньше часто думала: Господи, как глупо, сколько убивают вокруг нужных кому-то людей, остаются сироты, вдовы, матери, а тут и хотела бы, а живешь как заговоренная...

– Наверное, все-таки редакция дивизионной газеты – не самое опасное место службы, – безжалостно сказал Дежнев. – Если уж так хочется, можно в снайперскую школу по-

ступить, там шансов больше.

– Опять вы не поняли... Мне ведь не убивать хотелось, а самой умереть, убивать я не хотела и тогда, в сорок первом, может быть, это нелепо звучит, но о мести я не думала, это же бессмысленно – один случайно убивает другого, а за это третий берет и убивает четвертого, тоже случайного, возможно, вообще ни в чем не повинного.

– Выходит, разницы нет – что мы, что они? Договорились, ничего не скажешь! Они на нас напали, мы от них отбиваемся, а разницы, значит, никакой – никто не виноват, по-вашему!

– Да не солдаты же, согласитесь. Виноват Гитлер, правительство. Солдат не спрашивают – быть или не быть войне...

– Бросьте, – сказал Дежнев, – это все пустые разговоры. Если так рассуждать, тогда действительно вся вина на одного, может, человека ложится. Ну, или там на десять-двадцать человек, а остальные – вся армия – ни при чем. Это у вас все рассуждения, а в жизни по-другому. Тут счет простой: пошел ты завоевывать чужую землю – значит, ты и виноват. И нечего его оправдывать – ему, мол, приказали, он не по своей воле...

– Послушайте, капитан, вы сказали, что ваш брат погиб в Выборге. А это ведь была территория Финляндии. Так вот, этот ваш «простой счет», он, выходит, и к вашему брату применим? В том смысле, что сам виноват, если пошел завоевывать чужую землю?

Гвардии капитан Дежнев едва сдержался, чтобы не выругаться. Помолчав, он сказал сквозь зубы:

– Я не знаю... вы или провокационные разговорчики со мной затеваете... хотя не пойму, на кой вам это надо... или у вас окончательно мозги набекрень. Мы, что ли, на Финляндию нападали?!

– Ну, если вы всерьез верите, что это она на нас напала, то у вас и набекрень-то нечему сворачиваться. С чем и поздравляю, это в самом деле большая удача, когда в голове пусто, – куда проще жить.

Он готов был уже обернуться, заколотить кулаком по крыше кабины, чтобы водитель тормознул, – сойти, ну ее к черту, такую попутчицу; но ему вспомнился один давний, очень давний – еще до войны – разговор с Таниным дядькой, тогда еще полковником, только что вернувшимся с Карельского перешейка. Они в ту зиму часто играли по вечерам в шахматы – придешь к Тане, а ее нет дома, дядька и усаживает за доску. Игра, конечно, шла не на равных, хотя и он играл неплохо для своего возраста; Александр Семенович, скорее всего, просто не очень знал, о чем можно беседовать с десятиклассником, поэтому предпочитал такой способ общения. Но на вопросы отвечал всерьез и без скидок, и однажды Сергей спросил его: чем все-таки думали эти придурки белофинны, начиная войну против Советского Союза? Полковник помолчал немного, задержав в воздухе поднятую с доски фигуру, и, раздумывая, куда ее поставить, произнес негром-

ко: «Да там, понимаешь, сложно все получилось... Мы иначе тоже не могли, вот что главное, граница была слишком близко, а на мирный обмен территориями они не соглашались...»

Странно – он отлично запомнил сказанное Николаевым, но почему-то не задумался над смыслом того, что услышал, и позже не задумывался, а сейчас вдруг вспомнил опять – и понял. Выходит, начали все-таки мы? Кажется, какие-то инциденты на границе до этого были, кто-то кого-то обстреливал, но военные действия начались вторжением наших войск туда – а не финских на нашу сторону...

– Ладно, ладно, – сказал он примирительно. – Я вам, товарищ сержант, хочу только два замечания сделать. Во-первых, старшего по званию не положено называть в глаза дураком, даже если так оно и есть. Во-вторых, вы с этими своими разговорчиками когда-нибудь нарветесь, но только уже не на дурака, и тогда узнаете, что почем.

– А я уже давно все это знаю.

– Выходит, плохо знаете, если заводите такой треп с первым встречным... Показываете, какая вы храбрая и умная.

– Бог с вами, умной я себя никогда не считала, а насчет храбрости вы правы, наверное, – я с некоторых пор действительно ничего не боюсь. Раньше боялась, как все, а теперь...

Мотор, до этого тянувший ровно, стал вдруг давать перебои, машина пошла рывками, замедляя ход, потом умолкла совсем, сползла на обочину и остановилась. Водитель, сдержанно матюгаясь, вылез и с грохотом откинул створку капота.

та.

– Что там, отец? – спросил Дежнев, встав и перегнувшись через крышу кабины.

– Да ничего, продую сейчас, – ответил тот. – А вы, товарищ капитан, пошлите кого из ребят, пусть за водой сбегает – вон там вроде колодец есть. А то у меня радиатор худой, текет...

Бойцы спрыгнули на землю, один отправился по воду, другой стал помогать водителю советами. Дорога оставалась пустынной, было тихо, лишь где-то отдаленно погромыхивало – километров за десять, как показалось Дежневу. Попутчица тоже услышала, глянула вопросительно:

– Стреляют?

– Похоже, бомбят. Опять, верно, Знаменку. Ноги размять не хотите, прогуляться?

– Спасибо, не хочется вылезать, я тут угрелась. Холодно все-таки...

– Дело к зиме, она в этих местах суровая. По-разному, конечно, год на год не приходится. В Ленинграде, наверное, климат мягче?

– Более сырой, а вообще тоже по-разному бывает. Первая блокадная зима, говорят, была ужасной... Да, и в сороковом тоже – когда были бои на перешейке. Всегда получается как нарочно. Сколько было обмороженных... и в блокаду – если бы не такие морозы – погибло бы вдвое меньше, наверное. Я понимаю, у вас это в голове не укладывается – как могла.

Я и сама, теперь уже, когда пытаюсь взглянуть со стороны, не понимаю, отказываюсь понять. Но тогда... у меня было такое чувство, что я просто обязана... не мстить, нет, об этом я вам уже говорила... а просто быть там, где был он, как-то... ну, помочь, что ли. Я очень его любила, хотя не сразу, это удивительно получилось – он был намного старше, у нас двенадцать лет была разница, и сначала я просто... Ну, у нас получилось почти как у Достоевского с Анной Сниткиной – знаете?

Капитан Дежнев не знал, но кивнул с неопределенным выражением лица – да так, слышал, мол, в общих чертах.

– Я перед войной, незадолго, осталась без родителей, – продолжала попутчица, – и институт пришлось бросить, я на первом курсе была, ну и стала печатать на машинке – для заработка... Машинка у нас была дома, ее как раз... ну, когда все это случилось... ее один знакомый у нас одолжил, поэтому она и уцелела, и я на ней печатала. А Михаилу Алексеевичу надо было срочно одну работу перепечатать – ему кто-то сказал про меня, мы так и познакомились... Я и не думала, он мне казался таким... ну, не знаю – старше намного, доцент, и вообще... Если откровенно, согласилась выйти за него замуж из страха. Как раз тогда я всего боялась – я вам говорила уже, я была трусихой, особенно после... Знаете, люди часто говорят, что жизнь идет полосами, но у меня это особенно как-то всегда было: либо светлая, либо совершенно черная, без полутонов. Перед тем как раз все было

ужасно – я совершенно одна осталась, из института отчислили, из квартиры выселили...

– Так родителей что – посадили, что ли?

– Ну, естественно! Хотя неправда, что полутонов не было, – она улыбнулась, – папин знакомый вернул машинку, мог ведь и не вернуть, другие вообще здороваться перестали... Но это ерунда, а вот тетя Нюра, она у нас еще раньше домработницей служила, причем не долго и не очень даже прижилась, мама с ней не ладила почему-то... Так вот, эта тетя Нюра, когда мне буквально некуда было деваться, она меня поселила у себя в пригороде, я у нее жила как член семьи, хотя, наверное, это и опасно было для них... и у меня сначала даже денег не было ни копейки, это уж я потом стала немного зарабатывать, вносить свою долю хотя бы на питание. Так что грех говорить – было и светлое. Потом я вышла замуж, а летом сорокового родился Мишенька. Я еще думала – как это солидно будет звучать: Сорокин Михал Михалыч. Вот это была светлая полоса, действительно уже без полутонов, я почему-то даже и бояться перестала... Хотя все понимали, что война вот-вот и по нас ударит... У мужа семья была удивительная, я в нее вошла как-то сразу, вы понимаете, часто ведь отношения бывают непростыми – свекровь, невестка, а тут...

Она замолчала, глядя куда-то мимо собеседника, словно его здесь не было. Да так оно, наверное, и есть, подумал Дежнев, она ведь все это самой себе говорит, зачем ей слушатель.

Но тут она все-таки глянула на него, усмехнувшись одними губами.

– А вы мне про трибунал какой-то, – сказала она. – Меня знаете что в жизни держит? Тетя Нюра, у которой я жила, она была верующая – ну, простая деревенская женщина, неудивительно, – так вот, она однажды сказала, что самый большой грех – это, как она выразилась, «руки на себя наложить». Поэтому-то, дескать, самоубийца никогда не встретит там своих близких – ну, если предположить, что есть что-то после смерти...

– А вы предполагаете, есть?

– Нет, конечно. Но я просто рассуждаю: если хоть один шанс из миллиарда – можно ли рисковать?

– Тут, наверное, шансы подсчитывать смешно, – сказал он после паузы, – это уж пускай верующие бабуси их подсчитывают, а что самоубийство – трусость, вот это точно. Другое дело, когда приходится... Чтобы в плен, например, не попасть. Вас как звать-то, сержант Сорокина? А то неудобно – разговариваем, а вроде и не знакомы. Меня Сергеем зовут, а фамилия – Дежнев.

– Очень приятно, – она выпростала руку из слишком широкого рукава шинели и протянула ему. – Меня – Елена Петровна. Только вы и отчество свое тогда уж скажите, не могу же я гвардии капитана звать просто Сергеем...

– Ну, Данилович, но это не обязательно. А вы о... родителях так ничего и не знаете с тех пор?

– Мама была в одном из мордовских лагерей, я ей даже одну посылку успела туда отправить, а вторая вернулась без всякого объяснения. И писем больше не было. А о папе я только знаю, что его осудили без права переписки, на десять лет.

– После войны увидите, – сказал он уверенно, – полсрока, считайте, уже прошло. Да и амнистия какая-нибудь наверняка будет, когда победу отпразднуем...

Двигатель снова заработал – уже ровно, налаженно. Боец постарше забрался в кузов сбоку, ступив на колесо, другой – помоложе, что ходил за водой, – зашвырнул наверх помятое ведро и лихо вскочил через задний борт, когда машина уже тронулась. Через полчаса они были в большом, богатом и почти не пострадавшем от боев селе, где расположился штаб полка. Дежнев соскочил на землю, помог сойти попутчице, приказал бойцам выгрузить и занести в хату тючки с газетами.

– Ну что же, счастливо, – сказал он, протягивая руку. – Игнатьеву привет от меня, скажите – рад буду повидаться.

Повидаться в этот день не удалось, и до вечера капитан Дежнев не вспоминал больше о своей новой знакомой. А вечером, уже вернувшись «домой» – в расположение батальона, – вдруг вспомнил, и воспоминание было не из приятных. Дорожный разговор со случайной попутчицей оставил какое-то гнетущее впечатление. С одной стороны, сержант Сорокина показала себя редкостной дурой. (Взять хотя бы

сказанное ею насчет Выборга; выходит, мы тогда были для финнов такими же агрессорами, как сейчас немцы для нас? Ну, ляпнула!). Но в то же время она и жалость вызывает – хотя, логично рассуждая, жалеть вроде не за что. В голове не укладывается, чтобы мать могла вот так ребенка бросить... Но человек она, конечно, несчастный, что и говорить. Да, лучше бы он с ней не встретился, в самом деле, спокойнее как-то было бы на душе...

Глава четвертая

Дожди шли уже вторую неделю. Они шли с регулярными перерывами, и в регулярности этой было что-то удручающее – словно даже явления природы подчинялись здесь некоему уныло размеренному «орднунгу». К вечеру дождь иссякал, по ночам над островерхими крышами соседних домов небо было исколото тусклыми озябшими звездами, но каждое утро, когда рабочая колонна строилась посреди превращенного в апелььплац школьного двора, мимо синих фонарей опять сеялась сверху та же ледяная мокрядь.

Поверка продолжалась долго. Переводчица и комендант лагеря Фишер – бывший учитель, который жил при школе и стал временным комендантом, когда здание было реквизировано под лагерь для «восточных рабочих», – предпочитали начинать рабочий день в теплой канцелярии, не высывая носа наружу, а охранявшие лагерь украинские полицаи были малограмотны и вечно путались в списках. Люди стояли под дождем, переминаясь с ноги на ногу и чувствуя, как проклятая сырость уже пробирается сквозь тряпье. Мастерские, которым удалось получить постоянную работу на разного рода мелких предприятиях в Штееле или в самом Эссене, группами выходили за ворота, лагерь постепенно пустел. Наконец выводили и их, «шарашкину команду», занятую на общих работах.

Здесь, конечно, все было относительным. Раньше, когда эти общие работы нередко оказывались подметанием улиц или уборкой сухих листьев в городском парке, им завидовали: пока другим приходилось вкалывать у вагранок или прокатных станков, они дышали свежим воздухом и филонили как хотели, лишь стоило отвернуться надзирателю. Но эта легкая жизнь продолжалась недолго – жители Штееле обратились в бургомистрат с протестом по поводу того, что на улицах и даже в парке слишком часто толкуются гнусного вида унтерменши с бело-синими нашивками «OST», бургомистрат послал соответствующий запрос в трудовое управление в Эссен, и оттуда в лагерь пришло циркулярное письмо, предписывающее ограничить использование «восточников» на работах, связанных с пребыванием на виду у населения. А тут еще зарядило устойчивое осеннее ненастье. «Шарашкину команду», составленную из интеллигентов, домохозяек и не имеющей специальности молодежи, гоняли то на постройку бомбоубежищ, то на разгрузку товарных вагонов, то на земляные работы за городом. Они теперь возвращались в лагерь позже всех, замерзшие и промокшие до нитки; им уже никто не завидовал. Да, очутиться бы сейчас где-нибудь в цеху, в относительном тепле и с крышей над головой! Колонна, нестройно грохоча деревянными подошвами, медленно брела по улице, в серой мгле раннего ненастного утра. Кончились последние кварталы предместья, по обеим сторонам шоссе потянулись бурые огороды с уже заколочен-

ными на зиму крошечными фанерными домиками, залитые дождем глинистые поля. До электростанции, где рыли котлован, было еще не менее часа ходьбы.

Таня шла в хвосте колонны, глубоко – по самые локти – спрятав руки в рукава драного ватника, и старалась думать о приятном. С утра, когда впереди десять часов работы под дождем, да еще на голодный желудок, особенно важно запастись бодрым настроением, чтобы не раскиснуть. Хотя ничего «приятного», о чем стоило бы подумать, вокруг не видно. Еще и эта собачья погода! Совсем другое дело, когда солнышко выглянет, да что-то редко оно здесь выглядывает. Хорошо хоть, ноги пока сухие – вот уже и есть чему порадоваться. А ватник! Что бы она сейчас делала без этого ватника?

В рейнхаузенский пересыльный лагерь их тогда навезли сразу столько, что даже с хваленой немецкой организованностью получилась какая-то неувязка: запаса продовольствия не хватило, и целую неделю они голодали. Голодали по-настоящему, не так, как здесь, где все-таки подкармливают худо-бедно. К концу той памятной недели она так ослабела, что ее шатало на ходу, и видик, наверное, был соответствующий – иначе чего бы вдруг сжалился над ней тот охранник, что однажды вечером поманил пальцем из-за угла и сунул завернутую в газету буханку хлеба...

А разве не приятно вспомнить, как разумно и предусмотрительно распорядилась она тогда своим неожиданным богатством! Съела только половину – и то понемногу, растянув

эти шестьсот граммов на два дня, – а за вторую половину приобрела вот этот самый ватник. Над нею тогда смеялись: во-первых, сказали, она невероятно продешевила, за полбуханки можно было часы получить, а во-вторых, дело было в августе, стояла жара, и ватник действительно казался странным приобретением, как-то очень уж не по сезону. Лагерники вообще не склонны задумываться над будущим: что там загадывать наперед, дожить бы до конца недели.

А вот она о будущем подумала. Сообразила, что осень не за горами, а климат этой северо-западной части Германии, может, и не такой уж континентальный, чтобы опасаться морозов, но сырости и холода здесь хватит. Между тем в Рейнхаузен бывшая «фрейлен секретарь-переводчица» имперского советника Ренатуса прибыла в жалких остатках того самого наряда, который был на ней в ночь ареста после торжественного приема в Воронцовском госхозе. Черная шерстяная юбчонка, узкая и короткая по последнему крику предвоенной моды, за месяц скитаний по пересылкам вид приобрела совершенно непотребный, а утратившая первоначальную белизну блузка держалась еще только за счет прочности парашютного шелка. И никто не знал, будут ли им вообще выдавать какую-нибудь спецодежду или так и оставят в чем привезли. Спустя месяц все-таки выдали – но что? Каждая «восточница» получила жуткое халатоподобное платье из древесной ткани синюшного цвета, пару чулок явно из той же древесины и косынку на голову. И ни шиша больше.

Хороша бы она сейчас была в такой экипировке, без верхней одежды и при часах (нужных ей здесь как кошке мандолина).

Таня с удовольствием поеживается в своем ватнике, уже порядком отсыревшем, но все же теплом. Если Эрика, дочь коменданта, принесет обещанный кусок клеенки и немного ниток, ватник можно будет подлатать и нашить на него что-то вроде кокетки непромокаемой – тогда совсем будет хорошо. Да что говорить, человек с головой не пропадет даже в Германии.

Иметь на плечах голову – это первая заповедь, а вторая – держать себя в руках и не распускаться. Что для этого надо, сразу и не ответишь, тут, наверное, у каждого свой рецепт. Можно, конечно, твердить себе разные громкие слова: что ты советский человек, комсомолка, а не немецкая рабыня, ну и тому подобное. Но это все громкие слова, не более. А чем слова громче, тем меньше поддержки в них находишь.

Как ни удивительно, хорошо поддерживают воспоминания. Это на первый взгляд необъяснимо; казалось бы, когда тебе плохо, надо стараться вообще забыть, что когда-то было лучше. Но это не так. Когда вспоминаешь, возникает странное ощущение: время словно расплывается, перемешивая прошлое с настоящим, и от этого «разбавления прошлым» настоящее приобретает иное качество, выглядит уже не таким безысходным. Как будто все то, что ты когда-то пережила, остается с тобой – или в тебе – на всю жизнь.

Так оно, наверное, и есть на самом деле. Бывает ведь, что

человек, переживший какую-то страшную трагедию, оказывается навсегда сломленным, как бы благополучно ни сложилась потом его дальнейшая жизнь. Почему же не может быть наоборот? Если твоя жизнь долго складывалась благополучно, и не просто благополучно, а даже, можно сказать, счастливо, то разве это не может наложить отпечатка – надолго зарядить бодростью, уверенностью в том, что так будет всегда? И даже если вдруг все меняется к худшему, воспринимаешь это без уныния. Ну что ж, сейчас плохо, но ведь было у меня и другое, а если было, то и осталось. Уж прошлого-то не отнимут!

Самообман? Возможно, но он помогает. Доверие к судьбе – это очень важно, и если до сих пор она была благосклонна, то и будущее представляется не в таком мрачном свете. Разве ей не везло до сих пор? О довоенной жизни нечего и говорить – ведь только летом сорок первого, когда все полетело в тартарары, она стала жить как все (а может, даже труднее – с непривычки); но и потом судьба словно подсовывала один счастливый билет за другим. Погнали их тогда на регистрацию в «трудовое управление» – она пошла сразу, получила назначение на местные работы; а бедная Люся отправилась на другой день, из-за чего-то повздорила с начальницей и в результате оказалась среди отобранных для отправки в рейх...

С Попандопуло тоже повезло – все-таки быть продавщицей в его дурацком «Трианоне» было легче, чем разбирать

развалины или вкалывать на снегоуборке. Вот когда невесть откуда появившийся Леша Кривошеин, он же «господин Федотов», воззвал к ее комсомольской совести и посоветовал устроиться в гебитскомиссариат, она решила, что везению теперь уж точно пришел конец, потому что неизбежный провал всей этой их доморощенной подпольщины предвидела с самого начала, было бы удивительно, если бы они рано или поздно не засыпались.

И в этом она оказалась права, а насчет конца везению ошиблась – судьба продолжала ее хранить (знать бы, для чего). Ведь надо же было, чтобы Кранца убили у нее на глазах, в одном квартале от здания гестапо, а привезший ее из Воронцовки полицейский не понимал по-немецки, и когда выскочивший с пистолетом в руке ефрейтор погнался за стрелявшим, не смог объяснить, что сопровождает арестованную, и оставил ее прямо на улице... Правда, на свободе она пробыла минут двадцать, не больше, но на базарной площади ее схватили уже не как опасную государственную преступницу, отправленную в гестапо по личному приказу господина имперского советника, – а просто потому, что в тот день шла облава и хватали всех подряд, у кого не было удостоверения личности. При ней, к счастью, его не было – осталось, наверное, в кармане у полицейского.

Конечно, если бы не покушение на Кранца, немцы наверняка стали бы искать ее среди задержанных и нашли в два счета, но в той суматохе было уже не до сбежавшей перевод-

чицы; их всех в ту же ночь и вывезли (правда, только женщин – мужчин оставили, наверное, искали причастных к покушению). При погрузке в эшелон списки составлялись наспех, без предъявления документов, каждая могла назваться кем угодно, так она и превратилась из Николаевой в Дежневу, а здесь при заполнении кеннкарты и эту фамилию переврали в транскрипции, так что теперь сам черт не разберет, кто она такая, – лагерный номер 2316 и ничего больше...

Так что есть все же некоторая надежда, что и тут удастся уцелеть. В конце концов, можно было бы уйти из «шарашкинской команды», поискать что-нибудь полегче. Комендант Фишер – человек неплохой, ему явно не по душе свалившиеся на него полицейские обязанности, и если его попросить, мог бы и перевести на другую работу. Аня Кириенко, например, пристроилась в прислуги к какой-то богатой полоумной старухе и живет припеваючи – по полдня выгуливает в скверике двух мопсов. Или есть небольшой лагерь в Купфердрее, при пуговичной фабрике, где очень приличные условия. Так что поискать можно было бы; но лишний раз напоминать о себе ни к чему, лучше сидеть не высовываясь. Вот это, пожалуй, третья заповедь – не менее важная, чем две первые.

Ладно, переживем! Где наша не пропадала. Как немчура себя утешает: «Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei»⁷. А что, мудрые слова, недаром это сейчас самый любимый их шлагер. И не только немцам хочется верить, что рано или

⁷ «Все на свете минует, все на свете пройдет» (нем.).

поздно все минует; чем еще можно подбодрить себя на третьем году войны?

Ровно в полдень «веркшущ», маячивший с винтовкой на краю котлована, дал свисток – сигнал к обеденному перерыву. Люди, скользя по размокшей глине, стали медленно выбираться наверх. Таня благополучно одолела подъем, устроилась на штабеле приготовленных для опалубки мокрых досок. К ней тут же подошел конопатый парнишка лет шестнадцати. Раньше она его в команде не видела.

– Во льет, зараза, – сказал парнишка и посмотрел на хмурое небо, с которого лить не лило, но продолжала сыпаться нудная дождевая пыль. Потом посмотрел на Таню. – Чего на мокром сидишь, дура, – сказал он снисходительно. – Застудишься, думаешь, они тебя лечить станут?

– Не застужусь, – сказала Таня, разворачивая непромокаемый мешочек из-под противоопридной накидки, в котором хранила хлеб. – Впрочем, если у тебя есть коврик, притащи, я с удовольствием посижу и на коврике.

– Ох и дура, – повторил парнишка. – А ну-к встань! Бери доску с того конца, перевернем.

Вдвоем они перевернули верхнюю доску, с обратной стороны она была сухой.

– Молодец, – Таня посмотрела на парнишку с уважением. – Я бы не догадалась.

– Бабы – они недогадливые, – согласился тот, сел рядом и вытащил из кармана свой хлеб, обвалянный в каком-то му-

соре. – Ты давно здесь?

Таня, уже занятая едой, молча выставила два пальца, пошевелив ими в воздухе.

– Два года? – ужаснулся парнишка и присвистнул. – Это что ж, выходит, – с самого начала?

Таня отрицательно помотала головой.

– Месяца, – пробормотала она невнятно.

– Ну, это дело другое, – парнишка тоже запустил зубы в свою пайку. – А я всего неделю, – сообщил он немного по-годя.

– Один?

– Не, с семьей. Мать хворает, верно помрет, а младшие – во такие, одному седьмой, другому девятый. Нас с-под Орла угнали, – добавил он, перехватив ее удивленный взгляд, – там как стали фронт выравнивать – всех подчистую гребли, и старых и малых. До самого Брянска гнали пехом, а там в эшелон, и поехали. С августа месяца по лагерям мотаемся. Мы аж под самым Кенисберком были, – добавил он хвастливо. – Ух, там немцы злющие, заразы. Чуть что – сразу по шее.

– Всюду они хороши.

– Не говори, тут вроде получше. Ну, понятно, на кого нарвешься. А лагерфюра⁸ у вас ничего, вроде тихий.

– Да, он ничего, – согласилась Таня. Доев свой ломтик хлеба, чуть смазанный маргарином, она слизнула с ладони крошки и стала аккуратно заворачивать второй, предназна-

⁸ Испорченное Lagerfuhrer (нем.) – комендант лагеря.

ченный на ужин.

– Чего прячешь, аль наелась? – насмешливо спросил парнишка. – Небогатый у тебя харч. Ты что, так и живешь на ихние триста граммов?

– У тебя есть возможность получать больше?

– А чего! Я вон вчера почти полкило заработал. Не веришь?

Он полез за пазуху, извлек самодельный, сшитый из клеенки бумажник и осторожно достал из него неразрезанный листок хлебных карточек, похожих на маленькие почтовые марки красного цвета. У Тани широко раскрылись глаза.

– Каким образом?

– Каким! Заработал, говорю. Во, гляди, – он стал грязным пальцем пересчитывать марки. – Десять штук по пятьдесят граммов – полкило. Это я вчера часть уже отоварил! А образ самый простой – уголь скидываю, поняла? Как поведут обратно, я от колонны отстану и смотрю, где чего. Немцы сейчас углем запасаются, зима на носу, а тут как делают – привезут уголь и скинут прямо на улице, возле подвального окошка, вот и надо его туда перекидать. Они после и выносят чего-нибудь. Больше хлебными карточками расплачиваются, а то и из одежды чего дадут. Хошь, на пару сегодня покалымим?

Тане не очень хотелось идти калымить после рабочего дня, но отказаться от возможности заработать хлеба...

– Хорошо, – кивнула она. – Только я не умею отставать от

колонны. А если заметят?

– Не дрейфь, не заметят... Ну ладно, я пошел. Меня Валеркой звать, а тебя?

– Таня.

– А-а. У меня сестренка была, двоюродная, тоже Танькой звали, так сдуру подорвалась – пошла по грибы, а лес был сквозь заминированный. Ты сама-то откуда?

– Я? С Украины, – секунду помедлив, сказала Таня. В этот день им повезло – работать после обеда почти не пришлось, в половине второго завывли сирены. Поскольку, согласно инструкции, иностранные рабочие во время воздушной тревоги не могли оставаться вне закрытых помещений, «шарашкину команду» загнали в пустой склад и заперли на замок. Там они и просидели до самого отбоя, а отбой дали только к концу рабочего дня. К тому же тревога оказалась ложной, самолеты прошли стороной.

Когда возвращавшаяся в лагерь колонна добралась до Штееле, было уже почти темно. Конопатый орловец, оказавшийся рядом с Таней, дернул ее за рукав; она вышла из рядов и остановилась на тротуаре, делая вид, будто поправляет застёжку на ботинке. Пожилой веркшущ с электростанции, сопровождающий колонну, шел впереди и ничего не заметил.

– Я ж тебе говорил, – сказал Валерка, когда последние ряды скрылись за углом, – все будет чин чинарем. Давай пошли!

– А лагерные полицаи? – с сомнением спросила Таня.

– А чего полицаи, они разве помнят, кто где работает. Нам лишь бы до десяти вернуться, покуда ворота не заперли...

– Послушай, так ведь и убежать можно, – сказала Таня, пройдя в молчании квартала два.

– Тоже, придумала! Куда тут побежишь? Всю Германию надо проехать, с конца в конец. Без одежды, без документов – да тебя на первой станции сцапают. Это возле польской границы еще можно было попробовать – так там охрана знаешь какая была, будь здорова! Глянь-ка, вон, кажись, уголь лежит...

Действительно, у одного из домов чернела куча угольных брикетов, ссыпанных прямо на тротуар. Валерка, сказав, что все берет на себя, смело подошел к двери и позвонил. Таня осталась в сторонке. Вышел пожилой немец в вязаном жилете, они поговорили и вошли внутрь. Через минуту Валерка вынес две совковые лопаты с длинными изогнутыми черенками.

– Вот и заметано, – подмигнул он Тане, вручая ей одну. – Мы это сейчас в два счета, угля-то всего тонна...

Работа пошла споро. Удобные лопаты легко скользили по мокрому гладкому асфальту, черпая круглые, с куриное яйцо, прессованные брикеты, и бросать было недалеко – почти не надо размахиваться. Поработав, однако, несколько минут, Таня разогнулась и оперлась на лопату, прикрыв глаза.

– Подожди, – сказала она слабым голосом, – давай немного отдохнем... у меня голова что-то закружилась...

– Ладно, – снисходительно отозвался Валерка, не прекращая работы, – передохни, я и без тебя управлюсь. Не жрешь ничего, вот и кружится! Эти гады на электростанции должны нас в обед кормить, поняла? Ты вот спроси кого хошь – где кто ни работает, всюду хозяева в обед кормят. Завтрак и ужин в лагере, а обедать мы должны на производстве, мне один немец точно растолковал. Кто-то на наших харчах руки нагревает, паразит...

Справившись с приступом слабости, Таня заставила себя взяться за работу. Ею вдруг овладел страх, что она опоздает в лагерь к ужину и ей забудут оставить ее порцию. Как всегда к вечеру, сейчас так хотелось есть, что она не могла думать ни о чем другом.

«Странно, – думала она, из последних сил механическими движениями бросая уголь, – я ведь сегодня хорошо победала... Целый лишний кусок, в нем было граммов сто, не меньше. А может быть, нельзя было этого делать... желудок привык к определенному режиму, как-то уже приспособился...»

Черная куча на тротуаре быстро уменьшалась. Наконец Валерка разогнулся, лопатой подгрёб откатившиеся в сторону брикеты и ловко зашвырнул в люк.

– Ну, шабаш, – сказал он. – Видала? Давай лопату и сядь вон на приступочек, отдохни. Пойду калым из папаши вытряхать.

Он ушел. Таня присела на ступеньки и опустила лицо

в ладони. Обморочная слабость снова охватила ее, перед глазами вертелись какие-то блестящие кольца, и от этого головокружительного вращения звенело в ушах. Опять пошел дождь – мелкий, бесшумный. Завтра с утра опять апельс-плац, стук деревяшек по асфальту, котлован, вязкая тяжелая глина на лопате. Сколько еще продлится война? И где этот Валерка, теперь-то они наверняка опоздают к ужину...

Он наконец-то появился, с пакетом под мышкой.

– Прижимистый оказался дедок, – сказал он, – пол-буханкой хотел отделаться. А я ему говорю – двое, мол, нас, швестер там сидит, тоже не жравши, давай, говорю, целый. Ну, еще половину дал, старый хрен! На, держи!

Он пошуршал бумагой, и в руках у Тани очутился хлеб – тяжелый, с колючей закраинкой на корке, он источал божественный ржаной запах, от которого у Тани сразу свело челюсти голодной судорогой. Тут же, сидя на холодной каменной ступеньке, она отломил кусочек и стала жевать.

Пока дошли до лагеря, вся корка с одной стороны была общипана. Чувство острого голода исчезло, Таня уже без энтузиазма думала об ожидающей ее миске баланды. В сущности, это просто свиное пойло – с мороженой прошлогодней брюквой, с картофельными очистками. Жиры, конечно, опять не будет ни капли. Тоже, еда!

Как странно, что люди в мирное время ломают себе голову над всякими блюдами, придумывают что-нибудь повкуснее. По-настоящему человеку нужен только хлеб и еще крепкий

чай с сахаром. Подумать только, что те, кому это доступно в любой момент, не осознают своего счастья...

– Ладно, до завтра, – сказал Валерка, когда они вошли в здание. – Ты на каком этаже?

– На третьем, седьмая комната, – сказала Таня. – Твоей маме ничего не нужно помочь?

– Не, там у нас баб хватает...

Она медленно поднималась по широкой лестнице, пропахнувшей специфической лагерной смесью дезинфекции, эрзац-кофе, баланды и грязной сырой одежды. С этой седьмой комнатой ей еще повезло – там подобралась люди тихие и большей частью семейные, но без грудных младенцев. Пожилой киевский бухгалтер с женой, большое семейство коммерсанта-неудачника из Николаева, группа агрономов с Северного Кавказа, прихваченных какой-то виртшафтскомандой во время последнего зимнего отступления. В седьмой поселилась и сама переводчица – фактически второе в лагере лицо после коменданта, – поэтому у них всегда чисто и тихо. В другие штубы просто нельзя войти – вонь, грязь, накурено, между коек сушатся на веревках мокрые пеленки. Да и народу там побольше. В шестой, напротив, живет человек семьдесят сектантов из Белоруссии – целая община. Косматые, страшные, в овчинных тулупах. Электричеством не пользуются – грех, сидят по вечерам в потемках или зажгут огарок свечи и тянут свои песнопения. Просто хованщина какая-то, жуть.

На площадке третьего этажа шумно толпились возле раковины парни из восьмой «холостяцкой» – самой буйной комнаты в лагере, куда не решались заходить даже полицаи. Холостяки были все как один в широких, наподобие лыжных шаровар, бумазейных голубых кальсонах в мелкие цветочки. Роскошные эти кальсоны выдали лагерникам неделю назад; предполагалось, что их будут использовать по назначению – как исподнее, но обносившиеся до дыр холостяки рассудили иначе и щеголяли в новых кальсонах поверх рваных брюк. В таком живописном виде они ходили и на работу.

– Танечке комсомольский привет! – закричал кто-то. – Чего в гости не заходишь?

Она отшутилась на ходу, увернулась от чьих-то объятий и прошмыгнула к себе.

В седьмой было тихо. За большим столом посередине, под низко опущенной лампой, несколько человек перелистывали журналы, писали письма, один из кубанских агрономов латал рубаху, неумело орудуя иглой. Двухэтажные казарменные койки вдоль стен были составлены где покоем, где глаголем; разгороженные листами светомаскировочной бумаги или цветастыми домашними занавесками, они образовали крошечные семейные отделения, вроде железнодорожных купе.

– Вы бы укоротили нитку, – сказала Таня агроному, сняв ватник и пристраивая его сушиться возле круглой железной

печки. – Кто же шьет такой длинной. А что, гемюзу⁹ еще не привезли?

– Как видите, нет, – желчным голосом отозвался сидящий над журналом тощий интеллигент в очках, – и неизвестно, когда привезут. Хваленая немецкая пунктуальность!

Гемюзу в лагере не готовили, доставляли откуда-то из Эссена.

– Очевидно, это из-за сегодняшней тревоги, – примирительно сказала Таня. – Если отключали ток, могли не успеть сварить.

Она сбросила башмаки, прошла на цыпочках к своей койке и достала из-под нее сшитые из мешковины шлепанцы. Ее место было нижним, верхнее занимала Аня Кириенко – та, что работала при мопсах. Сейчас она лежала лицом в подушку и шмыгала носом. – Ты плачешь? – Таня приподнялась и тронула ее за плечо. – Что случилось?

Кириенко дернула локтем и всхлипнула еще громче.

– Час уже ревет, – недовольно отозвалась переводчица со своей койки по соседству. – К бауэру ее отправляют, подумаешь, беда какая! А ты что так поздно? Другие уже давно вернулись.

– А меня, Валя, один немец попросил сбросить в подвал уголь, – сказала Таня. – Меня и еще одного мальчишку. Ведь это не запрещается? Он нам за это дал хлеба, вот, видишь...

⁹ Так на лагерном жаргоне называли баланду, сваренную из овощей (от нем. Gemüse – овощи).

Она показала свою добычу. Переводчица, белокурая девушка лет двадцати пяти, безразлично пожала плечами и снова уткнулась в книгу. У ее койки, отделенной от комнаты двумя казенными одеялами, стояла тумбочка с маленькой настольной лампой и лежал на полу яркий лоскутный коврик.

– Тебе, ясно, не беда! – со слезами выкрикнула Аня Кириенко. – Тебе-то что! А я уже была у бауэров, спасибо!

– Ну хватит! – оборвала ее переводчица. – Помолчи, люди с работы пришли – надо им отдохнуть или нет? Я тебя туда не назначала и Фишеру говорила, что ты не хочешь. Чего тебе еще надо? Что я – команду здесь, что ли?

Она раздраженно отбросила книгу и встала, посмотрев на часы.

– Что за черт с этим ужином, в самом деле! Да, вот что, – она обернулась к Тане, – сегодня в рыбной лавке была паста, так я сказала, чтобы взяли на твою долю. Банка у меня в тумбочке, забери ее, а деньги отдашь Трофим Иванычу. Сорок пфеннигов, что ли.

– Ой, спасибо, – обрадованно сказала Таня. Селедочная паста, которую можно было покупать без карточек, считалась в лагере изысканным лакомством. Немцы ее обычно не брали, но лагерники, как только она появлялась в продаже, расхватывали в два счета. На такую случайную подкормку и уходила в основном вся их зарплата – пять рейхсмарок в месяц.

Вскрыв жестянку, Таня намазала слой серой кашицы на толстый ломоть хлеба и принялась за еду. Ладно, баланду сегодня могут и не привозить, как-нибудь на этот раз обойдемся. После этой пасты, правда, потом очень хочется пить, но зато как вкусно!

В дверь кто-то заглянул, крикнул: «Переводчицу к коменданту, живо!». Валя, пробормотав что-то насчет проклятой должности, вышла из комнаты. Вскоре на лестнице послышались голоса, шум и знакомый лязг металлических баков по ступенькам.

– Наконец-то изволили вспомнить и о нас, – язвительно заявил тощий интеллигент. – С опозданием почти на два часа!

– Седьмая, гемюзу получать! – крикнули из-за двери. Двое мужчин внесли бак-термос с завинченной крышкой – прибыл лагерный ужин.

Таня едва успела проглотить несколько ложек, заедая баланду своим селедочным бутербродом, как дверь распахнулась и в комнату быстро вошел комендант, явно чем-то расстроенный, а за ним двое в кожаных пальто.

– Mahlzeit, – хмуро сказал Фишер, ни на кого не глядя. – Wo schläft die Dolmetscherin?¹⁰

Кажется, только она одна сразу, в первую же секунду поняла, что происходит. Почему – неизвестно. Она никогда не видела, как выглядят они в штатском; тем не менее, при пер-

¹⁰ Приятного аппетита... Где спит переводчица? (нем).

вом же взгляде на этих двоих, на их одинаковые кожаные пальто, сапоги и одинаковые тирольские шляпы она сразу все поняла и замерла, сжалась в комок, охваченная тем самым, старым, почти уже позабытым ужасом. Непонятно, при чем тут переводчица; может быть, дело просто в том, что их койки стоят рядом; сейчас они вызовут ее и спросят фамилию. Настоящую фамилию. Как наивно было думать, что имперский советник Ренатус не сумеет в поисках своей «маленькой Мата Хари» перевернуть вверх дном любой лагерь на территории рейха!

Она не слышала, как кто-то ответил коменданту. Она сидела сжавшись в комок, понимая, что для нее остается теперь только один выход: при первом же обращенном к ней слове кинуться к окну и выброситься туда, вниз, на мокрый черный асфальт. Лучше так, сразу. Потом она вздрогнула от грохота чего-то упавшего, подняла глаза и увидела, как один в кожаном пальто перетряхивает Валину постель, а другой, присев на корточки, роется в вещах, выпавших из опрокинутой тумбочки. Сорванный занавес из одеял валялся на полу.

Она оглянулась и обвела глазами белые лица сидящих за столом. Теперь поняли и они: эти вошедшие в комнату имеют с комендантом и были Geheime Staatspolizei. Тайная государственная полиция. Гестапо.

Оказывается, им действительно была нужна эта белокурая Валя, переводчица. Они производили обыск тщательно и профессионально, распорили даже тюфяк и наволочку,

вывалив истертую солому прямо на пол, прощупали лоскутный коврик, развинтили подставку настольной лампы. Потом ушли, забрав Валино пальто и чемодан. Следом за ними вышел комендант, такой же бледный и растерянный, ни на кого не глядя.

Стояла гнетущая тишина. То, что произошло сейчас на глазах обитателей седьмой комнаты, было слишком страшно, чтобы говорить об этом вслух. И страшен был вид растерзанной постели, весь этот оставшийся после обыска разгром. Таня не выдержала первой. Вскочив, она подошла к куче соломы и принялась трясущимися руками запихивать ее обратно в тюфяк. «Да помогите же кто-нибудь!» – крикнула она истерично. Вдвоем с Кириенко они наспех привели в порядок постель, покрыли ее одним из валявшихся на полу одеял. Таня подняла и поставила на место тумбочку. Потом взяла щетку и смела к печке соломенную труху.

– Вот вам и переводчица, – сказал кто-то негромко.

И сразу – словно только и ждали этих слов – заговорили все, громко и возбужденно, как обычно говорят люди, только что пережившие сильный испуг. Высказывали разные предположения, вспоминали не совсем обычную историю появления Вали в эшелоне; действительно, тут было много загадочного, просто на это раньше не обратили внимания. Она появилась в вагоне уже на пути сюда, когда их везли из Рейнхаузена, и (кто-то это теперь припомнил) попросила сказать, в случае чего, что была вместе с ними уже в пересыльном

лагере. Вероятно, откуда-то бежала и присоединилась к ним, чтобы замести следы. А может быть, она была разведчицей?

В эту ночь Таня долго лежала без сна. Валю, несомненно, арестовали за какие-то старые грехи: здесь, в лагере, она едва ли занималась чем-либо противозаконным. Теперь стало понятным и ее странное появление, ее всегдашняя замкнутость. Она никогда не рассказывала о себе, и в седьмой комнате, где все знали более или менее все друг о друге, переводчица была единственным исключением. И еще, разумеется, Таня.

Лагерь, в сущности, оказался западней. Тане почему-то никогда не приходила в голову простая мысль: гестапо не может не проверять постепенно всю эту огромную массу восточных рабочих, скопившуюся в трудовых лагерях. Было бы просто нелепостью, если бы оно этим не занималось! Ведь среди остарбайтеров могут быть и разведчики; сегодня, чтобы заслать человека в Германию, не нужны ухищрения, ему достаточно проникнуть на оккупированную территорию и в первом же городе зарегистрироваться на бирже труда. Когда рабочую силу гонят в рейх эшелон за эшелон, проверять каждого трудмобилизованного нет никакой возможности; конечно, проверка производится потом, уже по прибытии на место, – в гестапо получают копии лагерных списков, сличают имена, фотографии на кеннкартах, отпечатки пальцев...

Очевидно, Валю за что-то разыскивали, разыскивали не

один месяц, пока не обнаружили здесь, в лагере «Шарнхорст-Шуле». Но ведь и ее – бывшую сотрудницу Энского гебитскомиссариата – тоже не могут не разыскивать! Не может быть, чтобы тамошняя служба безопасности, узнав о ее побеге как раз в день отправки эшелона, не сделала соответствующих выводов. Вероятнее всего, начальник кадров гебитскомиссариата давно уже направил куда следует ее личное дело – с фотографиями, описанием особых примет и всем прочим. Значит, вопрос теперь только в сроках.

Из лагеря надо бежать, и бежать немедленно. Но как? Валерка прав – отсюда, из Рура, до польской границы не добраться. Нечего и пробовать. Но и оставаться здесь нельзя.

Аня Кириенко, спящая на верхней койке, заворочалась и пробормотала что-то во сне. Вот уж действительно, у каждого свои заботы! Этой дурище дают возможность покинуть лагерь, а она еще ревет. Деревенская жизнь ей, видите ли, не нравится.

И тут вдруг пришло решение – само по себе пришло, такое простое, что Таня даже тихонько присвистнула и села на постели, обхватив руками колени. Как она сразу не догадалась!

Через несколько минут план был обдуман во всех деталях. Надо только, чтобы инициатива исходила не от нее. Совпадение может показаться подозрительным – арест переводчицы и внезапно возникшее у номера 2316 желание убраться из лагеря. Нет, пусть к коменданту идет сама Кириенко. Пусть

она скажет, что умолила и упросила одну свою приятельницу ехать вместо нее, что сама она так привязалась к своей старой и беспомощной хозяйке, что не может оставить бедную старушку без привычного ухода. И пусть хорошенько перед ним поревет – она хорошо это умеет, а комендант совершенно не переносит слез. Пусть поревет погромче, и тогда он по обыкновению схватится за голову и закричит: «Ну ладно, ладно, делайте что хотите, ну вас всех к черту!» Утром она поговорит с этой любительницей городской жизни – уверена, что та клюнет сразу.

Но утром поговорить с Кириенко не удалось. Та исчезла из лагеря раньше обычного, верно, побежала прощаться к своей старухе, а вечером весь Танин план, так хорошо продуманный, лопнул как мыльный пузырь. Перед ужином (Кириенко еще не вернулась) в седьмую комнату заглянул парень из соседней, «холостяцкой», нашел взглядом Таню и поманил пальцем. Недоумевая, Таня вышла на лестничную площадку.

– Слышь, сестренка, какое дело, – сказал парень. – Тут ребята просили с тобой поговорить. Ты немецкий хорошо знаешь?

Таня готова была уже сказать, что вовсе не знает немецкого, но что-то ее удержало: очень уж непривычно-серьезным тоном говорил парень из восьмой комнаты, обычно они с ней балагурили, норовили ущипнуть, шлепнуть.

– Немецкий? Да так себе, – ответила она осторожно. – А

что?

– Да понимаешь... Валя была хорошая девчонка, а кого теперь пришлют – неизвестно. Среди этих переводчиков такие бывают суки – страшное дело. Мы с ребятами и подумали...

– Что вы подумали?

– Ну, Валя говорила, что ты вроде шпрехаешь по-ихнему. Подойди к коменданту, заговори с ним, может, он сам тебя оформит как переводчицу...

– Зачем это мне? – возразила она испуганно. – Ты что!

– Тебе-то, может, и незачем, – согласился парень. – А лагерю это еще как нужно. Нам всем нужно, могла бы и сама сообразить.

– Мало ли что вам нужно! А мне нужно дожить до конца войны, ясно? Нашли себе козу отпущения!

– Ладно, кончай сопли распускать. Насилуют тебя, что ли? Валя тебе хорошую давала характеристику, поэтому мы и решили. Что ж, ошибочка вышла! Кому ты такая нужна, еще в комсомолках небось ходила...

Глянув на нее с презрением, парень ушел в восьмую комнату, хлопнув дверью. Таня осталась стоять на площадке, прикусив кулак. Да что же это такое в самом деле, до каких пор ей будут навязывать героические роли! Там Леша давил на нее могучим авторитетом комсорга: «Нам позарез нужен свой человек в комиссариате...» И этот в небесных подштанниках теперь туда же! Ну, это дурой надо быть, просто ду-

рой, чтобы вот так – самой – лезть на рожон, подставляться под проверку... И почему обязательно ей? Без нее, что ли, не обойдутся, обходились же до сих пор. До сих пор, правда, была Валя. А если и в самом деле пришлют какого-нибудь фольксдойча? Иной раз от переводчика больше зависит, чем от коменданта, в этом они правы...

Таня заметила вдруг, что плачет, поспешно достала платок, вытерла глаза и долго, с отчаянием, сморкалась. Все-таки простыла, наверное, прав был конопатый. Подойдя к двери с цифрой «8», она громко забарабанила в филенку кулаком. Кто-то выглянул, спросил, чего надо.

– Позовите того, который сейчас со мной говорил, - сказала она, – да поживее!

Тот вышел, глянул на нее неприязненно:

– Ну?

– А ты не нукай! – Таня вдруг озлилась. – Вот что: если я стану переводчицей, может получиться так, что в один прекрасный день мне надо будет отсюда смываться. Вы в таком случае поможете?

– Чем?

– Ну, я не знаю – в другой лагерь перебраться хотя бы. Ты сказал: «Мы с ребятами подумали». У вас что, комитет какой-нибудь есть? Значит, и возможности должны быть.

– Там поглядим, если до этого дойдет, – ответил парень неопределенно. – Обещать, сама понимаешь, ничего не можем.

– Да уж понимаю! Обещать никто из вас ничего не может, вы только призывать умеете. Ладно, завтра поговорю с комендантом...

На следующее утро, когда лагерники не спеша строились на аппельплацу, она подошла к Фишеру. Тот был явно в дурном настроении, с непонимающим видом листал списки и сердито бормотал что-то себе под нос.

– Прошу меня извинить, герр лагерфюрер, – сказала она непринужденным тоном, копируя берлинское произношение своей комиссариатской начальницы фрау Дитрих. – Могу я обратиться с небольшой просьбой?

– Валяй, выкладывай, – буркнул тот, не глядя на нее.

– Я была бы вам так признательна, если бы вы сегодня разрешили мне не идти на общие работы. Дело в том, что вчера я растерла ногу, а эти деревянные башмаки...

– Знаю, знаю, кожаные были бы удобнее, согласен. Черт с тобой, иди мыть котлы, кофе сегодня смердит хуже обычного, уж не крысу ли вы там сварили, с вас станется...

Тут он вдруг уставился на нее ошалело, разинув рот.

– Постой, постой! Ты что – говоришь по-немецки?

– О, в весьма ограниченном объеме, герр лагерфюрер, – скромно ответила Таня. – Словарный запас, вы понимаете...

– Ничего не понимаю! Как ты здесь очутилась, дочь сатаны? Ты что – народная немка?

– Нет, нет, я русская, но мы в школе учили немецкий...

– Так какого же черта ты до сих пор молчала?! – заорал

Фишер. – Herrgottverdammtdkruzifixnochmal!¹¹ Вторые сутки – с тех пор как эти мерзавцы забрали Фалентину – я объясняюсь на пальцах, как глухонемой кретин, а эта ослица разгуливает тут с невинным видом! Словарный запас у нее, видите ли, мал! Я тебе такой словарный запас покажу, что ты неделю не сядешь! Ты что, не знала, что мне нужна переводчица? Марш в контору – в аптечке найдешь лейкопласт, заклей что там у тебя растерто, и – немедленно обратно! Нам еще надо распределить людей по группам, а уже почти семь. Живее, я сказал!

¹¹ Проклятье и еще раз проклятье! (нем.)

Глава пятая

К исполнению своих новых обязанностей Таня приступила с неохотой и даже страхом. Известные привилегии, на которые она теперь имела право, не компенсировали опасности, неизбежно связанной с положением лагерной переводчицы. Вместо того чтобы оставаться одним из нескольких сотен безликих «номеров», она торчала теперь на самом виду, привлекая к себе общее внимание – только этого ей и не хватало!

Она очень испугалась, когда несколько дней спустя Фишер спросил, печатает ли она на машинке; поспешила ответить, что нет, откуда же, где ей было научиться... «Жаль, – сказал комендант, – у меня тут чертова куча всякой писанины. Ты бы поучилась в свободное время, переводчица должна быть немного секретарем». Таня послушно начала учиться, но показала себя такой неспособной, что коменданту пришлось отказаться от мысли обзавестись секретаршей. Может быть, это было простым совпадением, а не проверкой?

Она была избавлена от физического труда, но свободного времени оставалось даже меньше, чем когда вкалывала в «шарашкиной команде». Приблизительно треть лагерного населения не имела постоянного места работы, и каждый день их направляли то туда, то сюда, в зависимости от разо-

вых заявок на рабочую силу, а это означало, что Тане приходилось каждый вечер допоздна сидеть над списками и бланками заявок, решая, кого куда послать. Убедившись, что переводчица справляется, комендант вмешиваться в эти дела скоро перестал, и лагерники теперь не давали ей проходу своими жалобами и просьбами – почти всегда обоснованными, но не всегда выполнимыми.

Много хлопот доставляли сектанты из шестой комнаты. Они отказывались ходить в баню, отказывались носить номерные жетоны, отказывались обращаться к врачу в случаях заболеваний, иногда отказывались даже работать – у них был какой-то свой особенный календарь, где определенные дни полагалось проводить в посте и молитве. Никакие попытки договориться ни к чему не приводили – Таня понимала, что кончится это плохо, но была совершенно бессильна что-нибудь сделать.

С середины декабря участились воздушные тревоги. Теперь почти каждый вечер, около десяти часов, по всей округе начинали орать сирены. Одна, какая-то особенно мощная, была установлена на крыше соседнего здания: включаясь, она издавала вначале хриплый, необычайно низкого тона бычий рев, который повышался по мере того, как набирал обороты ее диск. Раскрутившись, сирена вопила пронзительно и исступленно, так что звенели оконные стекла, потом стихала, потом опять набирала силу. От одного этого воя можно было рехнуться.

Во время воздушной тревоги населению лагеря полагалось находиться в подвале, приспособленном под бомбоубежище; сигнал отбоя давали обычно уже за полночь, и эти три-четыре часа страха и ожидания в плохо вентилируемом, до отказа набитом бункере изматывали людей больше, чем самая тяжелая работа.

Самолеты пролетали, не сбрасывая бомбы. Их цели лежали пока восточнее – Бремен, Ганновер, Магдебург, Берлин. Но этого никто не знал заранее, и каждую ночь можно было ожидать, что бомбы снова посыплются на Рур, как весной этого года. О майских бомбежках лагерные старожилы вспоминали с ужасом, да Таня и сама уже несколько раз побывала в Эссене, своими глазами видела целые кварталы, превращенные в щебень взрывами «воздушных торпед», дотла выжженные фосфором и термитом.

Рур сильно пострадал, но он еще работал, еще дымили бесчисленные трубы, каждую ночь небо полыхало багровыми заревами мартенов, выдающих плавку за плавкой, круглосуточно вращались колеса шахтных подъемников, работали прокатные, кузнечно-прессовые, инструментальные, сборочные цеха бесчисленных заводов. Но что все это было обречено, понимал всякий. Вопрос был лишь в сроках.

Таня тоже это понимала, но почему-то не испытывала особого страха. Два года назад (неужели прошло только два года?), дома, после той памятной бомбежки, ее бросало в дрожь от одного звука летящего самолета. А сейчас страха

почти не было, хотя опасность возросла стократно. Та бомбежка покажется детской забавой в сравнении с тем, что произойдет здесь; в лагере были люди из Гамбурга – его этим летом сожгли за одну неделю, погибших было больше сорока тысяч. Таня думала об этом почти равнодушно. Чему быть – того не миновать.

В один из вечеров, когда тревога застала ее за работой в лагерной канцелярии, она решила не идти в убежище. Проревели и замолкли сирены, затих топот бегущих по лестницам; Таня выключила свет, подняла маскировочную штору и распахнула окно. Промозглая ледяная сырость декабрьской ночи хлынула в комнату. Зябко обхватив плечи руками, Таня стояла долго, всматриваясь и прислушиваясь. Начали вспыхивать прожектора – она увидела два, потом еще три, потом их стало уже слишком много, чтобы сосчитать; размытые туманом голубоватые световые столбы обшаривали черное небо, качались влево и вправо, перекрещивались, сходились в пучки и расходились. Стало светлее, на фоне их призрачно колеблющегося зарева обозначались угольно-черные ломаные очертания крыш.

Где-то далеко впереди уже мерцали в туманной мгле тусклые короткие вспышки – это вели огонь зенитные батареи западнее Эссена; вспышки приближались, стал слышен далекий еще грохот орудий и почти одновременно – гул самолетов.

Таня почувствовала инстинктивное желание бежать и от-

ступила от окна, но заставила себя остаться на месте. Еще никогда в жизни не слышала она ничего подобного этому чудовищному звуку, заполнившему, казалось, все небо от горизонта до горизонта; тысячи моторов мрачно и торжественно ревели сейчас у нее над головой, в черной ледяной вышине, исполосованной прожекторами и словно кипящей огненными пузырями зенитных разрывов. На полнеба расплескивая кровавые зарницы, с резким железным грохотом ударили пушки больших калибров, установленные в окрестностях, у Гельзенкирхена и Ваттеншайда. А англичане летели дальше – теперь уже было ясно, что и в эту ночь на их штурманских картах обозначены другие цели.

Захваченная жутким спектаклем, Таня не услышала, как за ее спиной отворилась дверь. Когда вошедший комендант окликнул ее, она вздрогнула от неожиданности.

– Почему не в бункере?! – крикнул он, подходя.

– Там очень душно! – ответила Таня, стараясь перекрыть всю эту вакханалию звуков. – Я думаю, здесь они не будут бросать! Летят дальше!

Комендант закрыл окно и опустил штору. В комнате стало потише. Не включая света, он присел на край стола и закурил.

– Да, здесь не будут, – сказал он. – Сейчас они бомбят Кассель, а вторая волна пошла дальше – в направлении Лейпциг, Галле.

– Уже было сообщение?

– Только что – «тяжелый террористический налет». Ты, надо полагать, чувствуешь глубокое удовлетворение?

– Нет, – сказала Таня, помолчав. – Я сама была однажды под бомбежкой, правда, не такой тяжелой.

– Где это было?

– У меня дома, в России.

– Тогда тем более! Своими глазами видишь, как приходит справедливое возмездие, не правда ли?

– Может быть, но ведь умирают не те, кто виноват...

– О, я знаю, у тебя всегда готов ответ. И кто же виноват, по-твоему?

– Я думаю, – убежденно ответила Таня, – что в этой войне виноваты масоны, евреи, всякие плутократы, я хочу сказать.

– Ах, плутократы! Ну-ну. Но может быть, и нам – немцам тоже хотелось немножко повоевать, а? Может быть, нам действительно не хватало пространства?

Комендант включил настольную лампу и теперь испытующе смотрел на Таню, ожидая ответа. Разговор становился опасным.

– Я не знаю, – сказала Таня, пожав плечами. – Разрешите, я пойду вниз?

– Подожди-ка, – сказал комендант. – Ты мне не ответила! Так как насчет жизненного пространства? По-твоему, это выдуманная проблема для нас, немцев?

– Но ведь таким путем ее все равно не решить, правда? Жизненного пространства у вас все равно не прибавится, я

думаю.

Комендант усмехнулся.

– Это ты думаешь теперь, когда мы проигрываем войну. Год назад, когда мы были на Волге и на Кавказе, ты так не думала. И никто не думал! Это чепуха – все эти разговоры о виновности и невиновности. Не знаю, как насчет плутократов, но в этой стране войны хотел весь народ. Слышишь? Весь без исключения! Партия никогда не скрывала своей программы, она выступила с нею совершенно открыто, она открыто готовила немцев к войне за жизненное пространство. И немцы с радостью готовились! Так что бремя ответственности за случившееся несут все. В том числе и те, кто в эти минуты стораёт живьем от английского фосфора. Единственно, кто действительно не виноват, это дети. Детей жаль. Это страшно, когда маленькие умирают под бомбами, страшнее нет ничего. Но может быть, им все-таки лучше умереть сейчас, чем потом пережить то, на что Германия себя обрекла... Ну что ты смотришь на меня своими загадочными славянскими глазами? Забудь все, что я наговорил, проверь маскировку и ступай в бункер, нечего здесь торчать. Они могут сбросить остаток бомб на обратном пути.

На немецкое Рождество окончательно установилась зима. Выпал снег, стояли ясные солнечные дни с легким морозцем. Жизнь в лагере «Шарнхорст» шла без изменений – каждое утро люди вставали по сигналу побудки, дежурные таскали бачки с эрзац-кофе, резали хлеб -буханку на четверых, раз-

давали «цулагу»¹² – иногда это был маргарин, иногда мармелад, иногда конская колбаса – каждая порция размером с половину спичечной коробки. Позавтракав и намотав на себя все, что можно, лагерники выходили на апель-плац, где в морозном тумане тускло светились синие фонари вдоль опутанного колючей проволокой забора. До вечера здание затихало, только штубендинсты¹³ мыли полы, драили лестницы и площадки, разносили по комнатам суточные порции угля. Следить за всем этим тоже входило в Танины обязанности, но она своим правом надзора не злоупотребляла, и днем ей иногда удавалось выкроить два-три свободных часа, чтобы постирать или поштопать, а то и почитать что придется. В немецких журналах недостатка не было – почти каждый вечер кто-то из обитателей седьмой комнаты приносил какой-нибудь «Иллюстрирте», кельнский, или берлинский, или мюнхенский. Было в комнате и несколько зачитанных до дыр книг, прихваченных кем-то еще из дома, – «Боги жаждут», «Разгром», несколько старых русских романов и даже изданная в Риге приключенческая повесть некоего Солоневича, густо-антисоветская, но довольно занятно написанная. Комендант против чтения вообще не возражал; он только предупредил Таню, что, если в лагере будет обнаружена хоть одна советская книга, то ей – переводчице – определено несдобровать. А то, что лагерники читают Золя, он да-

¹² Zulage – дополнительный паек (нем.).

¹³ Stubendienst – дневальный (нем.).

лее одобрил: «Разгром», по его мнению, надолго прославил прусскую победу под Седаном.

– Содержащиеся в книге выпады против немцев следует отнести за счет шовинистических настроений автора, – разъяснил он. – Было бы странно, напиши француз иначе.

Когда Таня спросила, относится ли к числу запрещенных авторов Анатоль Франс, он поморщился.

– Вообще – безусловно, – сказал он. – Но «Боги» пусть остаются, там ярко изображены преступления якобинской революции.

– А почему вообще Франс у вас запрещен?

– Немецкому мировоззрению чужд его ядовитый скептицизм, поэтому нам Франс не нужен.

– Простите, я не поняла, – сказала Таня. – Зачем запрещать то, что чуждо? Если вы перед собакой положите охапку сена, то излишне говорить ей «нельзя», потому что она и без всякого запрещения его не тронет. Другое дело, если это кусок мяса, которого она давно не ела...

– Послушай-ка, переводчица, – сказал комендант. – Я давно заметил, что язычок у тебя хорошо подвешен, но он гораздо длиннее, чем рекомендуется в наше время. Поэтому держи его за зубами, если не хочешь разделить печальную участь твоей предшественницы...

Подошел Новый год. Вечером тридцать первого лагерники получили «праздничный паек» – дополнительный хлеб, колбасу, семейным с маленькими детьми выдали по три

штучки какого-то печенья на сахарине; гемюза, привезенная в этот вечер, была вполне съедобна и даже пахивала мясом – очевидно, ее заправили бульонным экстрактом. После ужина в бывшем актовом зале, убранном еловыми ветвями и гирляндами бумажных флажков, начался небольшой концерт силами лагерной самодеятельности – в программе были украинские и русские народные песни, несколько сольных номеров на губной гармонике, фокусы, показанные бывшим иллюзионистом из какого-то периферийного цирка, подвигающимся сейчас в «шарашкиной команде».

Комендант, против обыкновения принаряженный, в черном костюме с партийным значком на лацкане, сидел в первом ряду рядом с Таней, после каждого номера аплодировал и удовлетворенно говорил: «Schön, schön»¹⁴. Когда концерт окончился, он поднялся на эстраду, поздравил лагерников с наступающим Новым годом и пожелал всем мира и победы. Чья победа имелась в виду, Фишер не уточнил.

– Зайди потом в канцелярию, – сказал он Тане, когда люди стали расходиться по комнатам.

Когда она зашла в канцелярию, комендант сидел за своим столом под портретом Гитлера, на столе стояла бутылка, две эмалированные кружки. Занят был Фишер обычным делом, за которым Таня часто его заставляла: препарировал очередную порцию принесенных лагерниками окурков. Найти на тротуаре окурков было большой удачей, за ними охо-

¹⁴ Прекрасно, прекрасно (нем.).

тились и немцы из цивильных, но у военных бросить не до конца докуренную сигарету считалось особым шиком, потому улов – хотя и небольшой – был, и некурящие либо выменивали добычу, либо сдавали коменданту. К регулярным своим поставщикам он был особенно благосклонен и обычно назначал на более легкие работы, связанные с пребыванием на свежем воздухе.

Внимательно исследовав окурок, Фишер вскрывал его лезвием безопасной бритвы, осторожно отделял обгоревшие частицы начинки, а сохранившийся табак так же бережно ссыпал в баночку.

– Да, да, это не очень гигиенично, согласен, – сказал он, заметив, с каким отвращением Таня наблюдает за его работой. – Но если куришь в трубке, ничего страшного – при сгорании все обеззараживается... Ладно, доделаю завтра, на сегодня хватит.

Убрав недорезанные окурки в ящик стола, он сжег в пепельнице оставшиеся от выпотрошенных обрывки папиросной бумаги, тщательно вымыл руки и вернулся к столу.

– А теперь можно и попраздновать, – он указал на бутылку и уважительно поднял палец: – Шнапс! Настоящий шнапс, понимаешь? Большая ценность по нынешним героическим временам. Сейчас мы с тобой выпьем за Новый, тысяча девятьсот сорок четвертый год, но сначала я хочу сделать тебе маленький презент...

Он полез в карман и достал флакончик духов.

– Держи, переводчица, – сказал он, протягивая ей подарок. – Здесь, в лагере, тебе не до всяких таких штучек-дрючек, но восприми это символически – как залог лучшего будущего. Духи, конечно, дрянь, эрзац какой-нибудь, я не эсэс-группенфюрер, чтобы дарить парижские. Зато от души!

– Спасибо, господин Фишер, я искренне тронута.

– И заметь – без всякой задней мысли. Я ведь не пытался склонить тебя к сожителству?

– Нет, насколько я могла заметить.

– О, уж это ты бы заметила! Фишер был когда-то малый не промах, что верно, то верно. Правда, никогда не позволял себе использовать для этих целей служебное положение. Тем более в данной ситуации! Так что, переводчица, за свою невинность можешь не опасаться. – Он подмигнул и разлил шнапс по кружкам. – Прозит!

Таня, держа флакончик в кулаке, подняла кружку и сделала глоток. Шнапс оказался невероятно противным на вкус, она не удержалась от гримасы. Фишер, спохватившись, достал из стола пакет в вошеной бумаге.

– Совсем забыл – я тут организовал тебе пару бутербродов, съешь, а то станет плохо.

Она взяла, стала жевать – машинально, не разбирая вкуса, шнапс уже ударил в голову, и ей пришлось сделать усилие, чтобы понять то, что говорил Фишер.

– ...быть благоразумной и держать язык за зубами – вот все, что от тебя требуется, – говорил он, – иначе ты просто

не доживешь до конца этого великогерманского свинства. А оно кончится рано или поздно, надо только уметь дождаться... Ты помнишь, мы как-то говорили о французской революции – ну, ты меня спросила насчет Анатоля Франса. Так вот, был такой аббат именем Сийес, современник Дантона, Робеспьера и прочих умников. Любил побаловаться политической, был депутатом Национального собрания, даже одно время его президентом, но при терроре вел себя тихо и от гильотины ускользнул... как ни странно, да. Потом снова ожил, побывал послом у нас, в Берлине, консулом при Бонапарте, ну и так далее. Так я это к чему? Сийеса однажды спросили – что он делал во время террора? Он пожал плечами и ответил: «Я жил». Запомни эти гениальные слова, переводчица. Ибо бывают в истории эпохи, когда от мудрого человека требуется одно – выжить. Хотя я далек от мысли причислять тебя к мудрым людям, ты скорее хитра, это нечто иное, но Бог с тобой, я искренне хотел бы, чтобы ты выжила. И даже готов за это выпить. Прозит!

– Спасибо, – отозвалась она едва слышно, через силу допила шнапс и поставила кружку на стол. – Не наливайте мне больше, я не могу...

– Больше я тебе и не предлагаю, еще чего, остальное выпью сам. А ты ешь, ешь!

Странно, от бутерброда почему-то пахло духами. Ах да, подарок... Флакончик был все еще зажат у нее в кулаке, она поднесла его к носу, понюхала – запах немного походил на

«Красную Москву». Таня крепко зажмурилась и, уронив на колени флакончик и недоеденный бутерброд, беззвучно заплакала.

А наутро проснулась совершенно больной – трещала голова, от одной мысли о еде мутило. К счастью, день был нерабочий, по случаю Нового года лагерников не погнали даже на обычные воскресные работы по разгрузке вагонов. В седьмой комнате было тихо, часть обитателей уехали в Эссен, получив увольнительные до вечера, другие отсыпались.

Таня заставила себя встать, запила таблетку аспирина горьким остывшим кофе и снова легла, задернув занавеску у своей койки, – чтобы никого не видеть и не слышать. Головная боль стала понемногу утихать. Из соседней комнаты – восьмой, «холостяцкой» – слышалось пение под гармошку – хлопцы, видимо, изрядно хватившие вчера технического спирту, без зазрения совести горланили советские песни – «Катюшу», «Спят курганы темные». Да ну их, подумала Таня, пусть себе поют, едва ли в такой день может оказаться в лагере какой-нибудь немецкий чин со стороны. А Фишеру на такие дела плевать, его можно не опасаться.

Доорав про парня, который вышел в степь донецкую, хлопцы с еще большим воодушевлением затаили «Любу-Любушку». Таня, постанывая от ломоты в висках, осторожно повернула голову на подушке, увидела рядом давешний флакончик и опять понюхала, закрыв глаза.

«Нет на свете краше нашей Любы» – это лето сорокового

года, неутомимые рупоры громкоговорителей на сочинском пляже, горячая шершавая галька и блещущее море до самого горизонта, это непонятные Дядисашины разговоры с соседями по столу – Дюнкерк, Гудерьян (она однажды спросила, кто это, и очень удивилась, как армянин стал немецким генералом), танковые клещи, окружение – все то, что вошло в общеразговорный язык годом позже... А потом грохот колес, мчавших ее домой в Энск, к Сереже, плавное кружение золотых, уставленных скирдами, полей за широким пыльным окном международного вагона, запах духов и паровозного дыма в лакированной, бархатно-зеркальной кабинке купе, и она сама, шестнадцатилетняя, замирающая от ожидания встречи и от мысли, что у нее не хватит денег расплатиться с проводником...

Для нее эта старая простенькая мелодия – тот вечер первого сентября, обрывки музыки с танцплощадки, звезды в вершинах серебряных от луны тополей, и твердое Сережино плечо, и стук его сердца, и их торопливые поцелуи. Это – вся та ночь, промелькнувшая как одна секунда, прохладный голубоватый рассвет на проспекте Фрунзе, пустые трамваи и пустая гулкая лестница в спящем еще Доме комсостава, тихое, словно замершее в ожидании чуда, первое утро их любви.

А «Катюшу» – точно так же, с такими же рыдающими переборами, – выводила в толпе гармонь там, на сортировочной, в те последние страшные минуты, когда уже не было

ни слов, ни мыслей, ничего, кроме леденящего сознания наступившей в мире пустоты. Когда уже никакими поцелуями, никакими объятиями нельзя было удержать его, стоявшего перед нею в солдатской одежде, в пилотке и гимнастерке с коротковатыми, не по росту рукавами. «Выходи-и-ла на берег Катю-у-ша!» – пели в вагонах, а вагоны шли быстрее и быстрее, громяхая на стыках и обгоняя бегущих, и она бежала вместе с другими, спотыкаясь, ослепнув от слез и не видя ничего, кроме огромного закатного зарева впереди, там, куда убегали, обгоняя ее, красные громяхающие вагоны...

Все это было ее прошлым, а прошлое было частью ее самой, оно определяло ее настоящее и, вероятно, ее будущее. Что ей могла дать спасительная «мудрость» аббата Сийеса!

Конопатый орловец Валерка подстерег ее на лестнице поздно вечером, когда она возвращалась к себе из канцелярии.

– Тань, ты в воскресенье сможешь съездить в Эссен? – спросил он вполголоса, поднимаясь вместе с нею. – Там один парень хочет тебя видеть...

Таня остановилась.

– Какой парень? – спросила она, изумленно глядя на своего бывшего сподвижника по «шарашкиной команде», которого ей удалось вытащить оттуда и устроить на постоянную работу в Эссен, в какую-то деревообрабатывающую мастерскую.

– Наш, остовец, – он про тебя спрашивал, это в том лагере, откуда нам гемюзу возят, знаешь?

– Гемюзу нам возят из «Фридрихсфельда». А ты что там делал? И почему этот парень обо мне спрашивал?

– Да я почем знаю! Мы там работаем, от мастерской, бараки ремонтируем. С самого Нового года. Он вчерась подошел и спрашивает, с какого мы лагеря. А я говорю – со Штеле. Он говорит – это что в школе или что в бараках? Я говорю – в школе. Он тогда спрашивает, как, мол, у вас зовут переводчицу, не Татьяной ли...

У Тани перехватило дыхание.

– Как он выглядит? – шепнула она, боясь поверить догадке.

– Да так, – Валерка неопределенно пожал плечами, – вроде рыжеватый. А лицо такое корявое, вроде бы от оспы. Ростом невысокий, с меня будет, только пошире.

– Ну, хорошо, – сказала Таня разочарованно. – Так зачем я ему понадобилась?

– А он не говорил. Сказал – спроси, мол, у нее, сможет ли взять в воскресенье увольнительную, часа в три. Нужно, мол, поговорить. И если сможет, чтоб передала, где будет.

– Я могу, конечно... но только нужно заранее спросить у коменданта, а сейчас он уже ушел. Завтра я спрошу и вечером передам тебе, а ты послезавтра ему скажешь. Сегодня среда? Ну вот, это будет как раз пятница, успеешь...

На следующий день она сказала Фишеру, что хочет в вос-

кресенье съездить в Эссен, и попросила дать увольнительную сразу, чтобы потом не забыть. Тот не стал возражать.

– Только никаких кино! – заявил он, прихлопнув лагерьной печатью заполненный бланк. – Попадешься – я тебя вырывать не стану.

Таня заверила его, что в кино не пойдет.

– В таком случае, переводчица отправляется на свидание? Что ж, война войной, а любовь любовью. Духи, я вижу, пригодились раньше, чем я предполагал?

– Так точно, господин комендант, – Таня улыбнулась. Вечером она сказала Валерке, что в воскресенье в три часа будет у главного вокзала, где «Дом техники».

– А как он меня узнает? – спросила она. – Ты вот что – скажи, что у меня в левом кармане будет торчать русская газета. «Новое слово» – знаешь?

– Знаю, – снисходительно ответил Валерка. – Читал я эту брехаловку. В левом, говоришь? Ладно, я передам.

По мере того как приближалось воскресенье, ее волнение все росло. Кому и зачем она могла понадобиться? Неужели кто-нибудь из Энска?

Когда пришел долгожданный день, она так торопилась, что не рассчитала времени и приехала на вокзал Эссен-главный почти за час до назначенного срока. Был тусклый январский день, медленный снег беззвучно ложился на мокрый асфальт, тут же превращаясь в слякоть под ногами прохожих. Поглядывая на часы, Таня обошла всю привокзальную

площадь до отеля «Хандельс-хоф» и назад к виадуку, порасмотрела витрины, постояла у журнальных киосков. Без четверти три она уже стояла на условленном месте, на углу у многоэтажного, полностью выгоревшего изнутри кирпичного остова с уцелевшими наверху огромными буквами «Haus der Technik».

Она прождала десять минут, двадцать, полчаса – никто не шел. С железнодорожных путей, расположенных, как во всех здешних вокзалах, на втором ярусе, доносился гул проходящих поездов, свистки, удары колокола. Пришел, очевидно, поезд дальнего следования – из вокзального подъезда повалил народ, солдаты-отпускники с винтовками, чемоданами и рюкзаками, прошла шумная толпа бородатых моряков в черных шинелях. Таня, уже порядком озябшая в своем легком пальтишке (тоже подарок коменданта), с любопытством поглядывала на прохожих – в лагере отвыкла от новых впечатлений. Словно замороженная, проводила она взглядом нарядную и ослепительно красивую женщину, вышедшую из вокзала с небольшим крокодиловой кожи чемоданчиком в руке. Приезжая была явно иностранкой – темные, красиво причесанные волосы, синее широкое пальто необычного покроя, легкие туфельки на остром французском каблуке – все это сразу выделяло ее из толпы немецких женщин, которые никогда не ходили с непокрытыми головами, одевались в темное и носили грубую обувь на толстой подошве. Кроме того, на ее лице была косметика – вещь совершенно необыч-

ная для Германии сорок четвертого года. Женщина эта прошла как существо из иного мира, где нет ни войны, ни карточек на хлеб и текстиль, где можно следить за своей внешностью, обдумывать прическу и туалеты, путешествовать...

Таня дошла до угла, у выгоревшего изнутри портала сохранилась на стене рекламная эмалированная дощечка «Norddeutsches Lloyd» с изображением белого парохода на фоне какой-то сине-оранжевой экзотики, повернула назад. Было уже половина четвертого. Наверное, никто не придет. Что за дурацкий розыгрыш? Разозлившись, она уже решила, что подождет еще пять минут и уйдет. И тут ее негромко окликнули сзади.

Она обернулась с замершим сердцем – перед ней стоял человек, довольно точно описанный Валеркой, коренастый, с рябым от оспы лицом.

– Татьяна? – спросил он, коснувшись газеты, которая торчала из ее кармана. – Извини, припоздал. Давно ждешь?

– С полчаса, – ответила Таня. Она с удивлением заметила, что на нем нет нашивки «OST»; и вообще по одежде его нельзя было отличить от немца-рабочего – такая же двубортная поношенная теплая куртка, пестрый вязаный шарф, темно-синяя суконная фуражка-тельманка. – Вы хотели меня видеть?

– Ага. Пойдем-ка, поговорим по пути.

– Куда?

– Ну, просто пройдемся, чтобы не стоять. Озябла, небось?

Хорошо бы погреться, тут вон напротив есть забегаловка – вроде наших «американок», помнишь? – дают какую-то баланду без карточек, называется «штам-герихт»¹⁵, но только народу там всегда – не протолкнешься. А поговорить надо без посторонних. Так что, может, потом поедим?

– Ничего-ничего, я не замерзла, – соврала Таня.

Они пошли вдоль кирпичной стены путепровода, от площади.

– Послушай, – сказал Танин спутник, – я буду без предисловий. Ребята из вашего лагеря считают, что ты человек надежный, и Валя тоже хорошо про тебя отзывалась...

– Вы знали ее? – спросила Таня, останавливаясь.

– Знал, раз говорю. Идем, идем.

– Что с ней?

– С ней плохо, засыпалась она, сама ведь знаешь. Так вот, слушай, есть к тебе одно небольшое дельце. Сможешь устроить – хорошо, не сможешь – ладно, будем искать в другом месте. Но только в таком случае – молчок. Поняла? Ты меня не видела и со мной не встречалась. Я говорю – для твоей же безопасности. Поняла? Если ты, скажем, сболтнешь кому-то про наш разговор и дойдет это до немцев – до меня они то ли докопаются, то ли нет, но уж тебя-то так просто не отпустят. Ну, ты не маленькая, сама понимаешь.

– Что вы, – обиделась Таня. – Неужели вы считаете меня способной на предательство!

¹⁵ Stammgericht (нем.) – дежурное блюдо.

– Считал бы, так мы бы тут с тобой не разговаривали. Короче, Татьяна, дело вот в чем. Хорошо бы в ваш лагерь сунуть одного парня, но так сунуть, чтобы комар носу не подточил. Провести по спискам задним числом, будто он у вас давно. Дело опасное, врать не буду, так что ты подумай хорошенько и прикинь – сумеешь ли это спроворить, чтобы не засыпаться к чертовой матери. Скажем, недельку подумай.

– Я... я не знаю, – сказала Таня со страхом. – Конечно, можно попробовать, но... ведь лагерные списки есть и в арбайтсамте, и если обнаружится расхождение...

– Это мы понимаем, что списки там есть. Но расхождение обнаружится только в том случае, если будет проверка; поэтому надо сделать так, чтобы им не пришлось в голову проверять. В этом и задача! У вас вообще проверки часто бывают? Вот это все ты и выясни. Не выйдет, так не выйдет, что ж делать. Тогда будем пытаться в другом месте. Но хорошо, если бы получилось. Это очень нужно, Татьяна. И тянуть с этим нельзя. Ну, скажем – от силы неделя сроку...

Они дошли до угла совершенно разрушенного квартала. Среди запорошенных снегом развалин копошились люди в полосатой одежде кацетников, двое на вершине раскачивающейся пожарной лестницы крепили трос в оконном проеме уцелевшего обломка фасада, торчащего подобно огромному зубу высотой в четыре этажа. Закончив работу, один из них махнул рукой, лестница поползла вниз. Пожарная машина отъехала в сторону, застрекотала лебедка, трос стал

медленно натягиваться. Когда натянулся как струна, стрекотание лебедки замедлилось, стало глуше. Обломок фасада дрогнул, начал клониться – сначала едва заметно для глаза, потом быстрее – и наконец рухнул, разваливаясь еще в воздухе.

– Пошли обратно, не надо здесь стоять, – сказал Танин спутник, – возле хефтлингов даже немцам запрещено задерживаться. Так ты подумаешь над этим делом?

– Подумаю. – Таня кивнула. – Я вам через неделю отвечу, ладно?

– Договорились, – сказал рябой. – Ну а теперь пошли поедим. Попробуешь, что у них там за шамгерихт.

В забегаловке оказалось действительно много народу. Взяв у входа два алюминиевых жетона, рябой отдал их Тане.

– Иди вот туда, возьми ложки, я займу очередь к кассе. Бляшки потом сдадим на выходе, иначе не выпустят, скажут, что ложки сперли. У немцев все продумано!

Таня взяла ложки в обмен на свои жетоны, рябой тем временем успел уплатить и получить две порции похлебки. С мисками в руках они потолкались по переполненному помещению, пока не нашли места у одного из высоких круглых столиков. Шамгерихт оказался ненамного лучше лагерной баланды, но он был горячий, и Таня уничтожила свою порцию с аппетитом.

– Кто, собственно, сюда ходит? – поинтересовалась она.

– Больше иностранцы из всяких вольнонаемных, ну и

немцы, кто победнее. У них тоже жизнь не масленица. Русских и поляков сюда обычно не пускают, так что ты, если будешь заходить, «ост» не показывай. Гляди, как это делается...

Он расстегнул верхнюю пуговицу на своей куртке и отогнул лацкан – сине-белый лоскут был пришит на другой его стороне.

– Можно и так, и этак, видишь?

– Действительно, до чего удобно! – восхитилась Таня. – А я еще подумала – почему вы без «оста». Но так разве позволяют?

– Мало ли чего не позволяют. В крайнем случае, заставят перешить на рукав, долго ли отпороть...

Когда они вышли на улицу, было уже темно.

– Тебе в Штееле? – спросил Рябой. – Идем, провожу до трамвая. Ответ ты тогда передашь через Валерку – скажешь просто: «да» или «нет». Если «да», то встретимся тут же, когда тебе удобнее...

Глава шестая

Дрезден был ему глубоко противен. Противна была вся Германия, причем не только эта, нынешняя, погрязшая в национал-социалистической гнусности, но даже и прежняя, всегдашняя, Германия вообще – не меняющаяся от режима к режиму, всегда ordentlich, всегда sehr gemütlich¹⁶, всегда непоколебимо довольная собой и при кайзере, и при фюрере, и при ком угодно; противны были немецкие города, одинаково – что новые, бездушно разлинеенные и однообразные, что старые, маниакально кичащиеся своей древностью, подслеповатыми окнами-бойницами, фахверковыми фасадами в кривых переулочках, угрюмыми шестисотлетними кирками; но из всех немецких городов едва ли не самым противным представлялся Дрезден, напыщенный, весь в пышнозадом барочном купидонстве вперемешку с бидермайером и купеческим модерном начала века, помешанный на своем кур-тизанском прошлом и культуре Августа Саксонского...

И дрезденцы тоже не вызывали симпатии – филистеры, сукины дети, патриоты околоточного масштаба: «Цвингер, о-о! Хофкирхе, ах-х!». Может быть, не восторгайся они так своей «Флоренцией на Эльбе», не выражай таких неумеренных восторгов по поводу каждой изваянной Пермозером нимфы и каждого карниза с завитушками, придуманного Бэ-

¹⁶ Упорядоченная... очень уютная (нем.).

ром или Пеппельманом, и сам Дрезден не вызывал бы раздражения. Ну что, город как город – не Париж, понятно, не Прага, но вообще вполне приличный. Только зачем объявлять его восьмым чудом света?

Ридель вполне разделял его чувства – и к Германии вообще, и к Дрездену в частности. У него была своя классификация городов, лучшим в мире он считал Сингапур, где бордели отвечают самому тонкому вкусу, а в Европе первым шел его родной Инсбрук, за ним Вена, а за нею какой-то никому, кроме самого Риделя, не известный Моршин в Галиции, где он однажды до войны провел незабываемое лето, наслаждаясь любовью совершенно обольстительной польской графини и бимбером домашнего изготовления.

– Всякий город должен вырастать постепенно, как растет лес, – объяснял он Болховитинову, – Дрезден же – это артефакт, он весь выдуман, в нем нет ни грана органичного. Просто, когда этот коронованный жеребец курфюрст Август стал еще и польским крулем и получил право титуловаться Augustus Rex, слава ударила ему в голову, и он решил переплюнуть французского Людовика с его Версалем, для чего начал возводить Цвингер, строить дворцы для своих шлюх и скупать картины по всей Европе...

– А как тебе нравится теперешняя архитектура, – подхватывал Болховитинов, – одна табачная фабрика возле Веттинского вокзала чего стоит – купол, минареты, обалдеть можно! А Новая Ратуша – это же казарма с башней, ни пропор-

ций, ничего...

– Хе-хе, тут еще не то бывало! На Выставке, возле Музея гигиены, в двадцатые годы вылупился дом-ядро, шар диаметром в пять этажей. Воображаешь? При Адольфе, правда, его сразу снесли, поскольку автором проекта был иудей...

Во всем этом было много эмигрантщины, Болховитинов сам это понимал. Эмигранта ведь медом не корми, а дай позлословить насчет места, куда он в данный момент заброшен судьбой. В Праге русские в своем кругу обожали судачить о том, что чехи – это вообще черт знает что: по крови вроде славяне, а как онемечились – истинными стали колбасниками, к тому же разве не чешские legionеры продали большевикам Колчака. Того же типа разговоры шли и в парижской колонии, обитатели 15-го аррондисмана вечно перемывали косточки французам – и сантимщики-де они, любой фермер удавится за пять су, и безбожники, недаром Вольтера породили, и войну-то мировую выиграла кровью русского солдата, в благодарность за что и поручили Морису Палеологу сострять мasonicкий заговор против престола, поддерживая гучковых, керенских и прочую сволочь...

Брюзжали и негодовали не только по поводу национальных качеств того или иного народа, такому же решительному осуждению подвергалось вообще все – где бы эмигрант ни жил, окружающее не могло идти в сравнение с тем, что было там, дома. В Брюсселе слишком дождливо, в Париже зимой слишком сыро, а летом нечем дышать из-за бензино-

вой вони, где-нибудь в Канне или Ментоне слишком жарко, вместо березок одни пальмы, а уж как мистраль задует – вообще житья нет...

Он, правда, всегда считал эту вздорную эмигрантскую ксенофобию явлением чисто русским – с другими эмигрантами общаться не случалось. А вот теперь нашел ее же и у Риделя – тот ведь, в сущности, тоже был эмигрантом, хотя Болховитинов не совсем понимал, что заставляет его торчать здесь, в Германии; сам Ридель объяснил это тем, что предпочитает находиться подальше от дома, покуда там хозяйничает мерзавец Гофер, – это же как надо было вызмеиться, отыскать для Тироля гаулейтера с такой фамилией, чтобы все считали его потомком того, казненного в Мантуе¹⁷!

– Мне, конечно, проще было бы смыться прямо в Швейцарию, – сказал он однажды, – в тридцать восьмом это было довольно легко, многие так и сделали; но вот тут я, признаться, попросту спасовал – как представил себе, что ведь уедешь и потом неизвестно, сможешь ли вообще вернуться, – нет, не смог. Германия дело другое, тут я вроде и в эмиграции, а в то же время и домой съездить могу, коли очень уж потянет...

– Хороша «эмиграция», – заметил на это Болховитинов, – из горшка да на сковородку. Здесь, что ли, не те же гаулейтеры?

– Да на здешних мне плевать, какое мне дело до здешних!

¹⁷ Национальный герой Тироля Андреас Гофер в 1809 году возглавил восстание против французов.

Партайгеноссе Мутшман пусть всю свою Саксонию хоть раком поставит, меня это не волнует, немцы сами кашу заварили, теперь пусть жрут до отвала...

Неясным каким-то человеком был этот Людвиг Ридель – бабник и выпивоха, вроде бы неглупый и порядочный, а в то же время обыватель, открыто исповедующий самые обывательские взгляды на жизнь и даже ими как бы гордящийся – вот, дескать, ничего из себя не строю, весь на виду, таким меня и принимайте... В этом смысле Болховитинову не повезло с единственным приятелем, которым он обзавелся в Германии; в конце концов, есть же и среди тевтонов люди как люди. Так нет – подвернулся типичнейший бюргер, а по-русски сказать – мещанин, мещанин до мозга костей. Спасибо хоть, что не той породы, кого в теперешней России называют «стукачами» (загадочное словцо, он так и не смог раскопать его этимологию); с тирольцем можно было говорить откровенно о чем угодно, не опасаясь последствий.

Там, на Украине, он с Риделем не откровенничал, а тот делал вид, что ни о чем не догадывается, и даже в своей обычной скабрёзной манере одобрял оперативность коллеги, сумевшего заарканить недурственную девчонку из резерва, можно сказать, самого гебитскомиссара. Только этим летом, когда он вернулся из Винницы и узнал о случившейся беде, Ридель совсем уже другим тоном спросил его, не нужна ли срочная помощь, и сам, первый, сказал, что уже интересовался в гестапо и выяснил, что арестованная переводчица

советника Ренатуса действительно бесследно исчезла по пути из Воронцовки в Энк. Он, выходит, давно сообразил, что Таня каким-то образом связана с подпольем, и держал язык за зубами. Болховитинов это оценил.

Теперь здесь, в Дрездене, где он уже не рисковал ничем, кроме собственной головы, прятать от Риделя свои настроения было бы и вовсе ни к чему. Другое дело, что особенного смысла не было и в том, чтобы ими делиться, – нацистов Ридель презирал, но говорить о какой-то «борьбе» с ними считал недостойным мыслящего человека.

– На фронте – пожалуйста, – пояснил он, – будь я помоложе и похрабрее, с превеликим удовольствием перебрался бы на ту сторону и поступил добровольцем... куда – это уже деталь. Я бы не отказался от бомбардировочной авиации! Представляешь, как здорово – подлететь к какой-нибудь огромной куче дерьма типа Берлина или Нюрнберга, хорошенько прицелиться и с высоты трех тысяч метров вывалить на нее сотню центнеров тротила. Это было бы неплохо, но, увы, терпеть не могу летать, всегда плохо переносил болтанку. Борьба же здесь, сидя в тылу, – это вздор и самообман. И вообще, чего ради? Борьба против нацизма как государственной системы уже бессмысленно, система эта издыхает, а нацизм как система взглядов неистребим: задавят его здесь – завтра он вылезет в другом месте и под другим названием и, скорее всего, кстати, у вас в Москве...

Предаваясь этим своим рассуждениям, Ридель делался

непереносим, разговаривать с ним становилось невозможно – ну что можно сказать человеку, который бахвалится перед тобой собственным цинизмом? Начни возражать всерьез, и окажешься в положении дурака, провозглашающего общеизвестные истины; соглашаться для виду – еще глупее, а отшутиться, подхватив разговор в таком же ерническом ключе, язык не поворачивается. Болховитинов понимал к тому же двусмысленность своего собственного положения. Как и Ридель, он служил у немцев, пошел на эту службу сам, обдуманно и сознательно (по каким причинам – вопрос уже другой), и разглагольствовать теперь насчет того, что вот, мол, сидим тихо и мирно, приспособились, стали коллаборантами, – не выглядит ли это самым настоящим ханжеством? Поэтому разговоры о возможности «что-то делать» были между ними крайне редки, если не считать беглых замечаний по этому поводу. А кроме Риделя, рядом не было вообще ни одного человека, способного хоть как-то избавить его от ужасающего чувства одиночества.

Мысль о том, чтобы обзавестись любовницей, казалась теперь чудовищной, хотя раньше он относился к этому иначе – бывали у него подружки в Париже (француженки; с соотечественницами никогда себе ничего не позволял), и даже здесь в позапрошлом году – до отъезда на Украину – он без особого сопротивления уступил домогательствам сестры одного сослуживца, которая только что проводила на фронт жениха и срочно искала утешения. Сейчас и подумать о таком было

немыслимо.

Так худо ему не было еще никогда – впереди полная бесперспективность, глухо, никакого просвета. Появлялась даже мысль уйти к чехам в партизаны, мысль совершенно безумная по многим причинам. Во-первых, в самом Протекторате о партизанах не слыхали, здесь сопротивление, где оно и было, выражалось иначе – промышленным саботажем на заводах; партизаны, если верить слухам, действовали в Словакии, но там ему делать было нечего, он не знал ни языка, ни людей. Во-вторых, его вряд ли приняли бы в свою среду и чехи. С какой стати они поверили бы ему – выходцу из русско-эмигрантской среды, которую иностранцы левых убеждений всегда считали реакционной, чуть ли не профашистской, да еще заклеившему себя службой у немцев? Нет, выхода здесь не было, так же как не было его и в том, чтобы вернуться во Францию (об этом он тоже порой подумывал). Для французов – тех, что боролись и могли бы дать ему такую возможность, – он тоже прежде всего оставался бы *sale collabo*¹⁸, пошедшим на сотрудничество с оккупантами...

Отсидев положенные часы в конторе за какими-то ерундовыми расчетами (даже работы интересной – и той не было), он возвращался к себе домой, в Плауэн, где жил неподалеку от православной церкви на Рейхс-штрассе – собственно, из-за этого соседства он там и поселился. В церкви, прав-

¹⁸ Поганым коллаборантом (фр.).

да, не служили, но даже пройти мимо было приятно, такой неподдельно родной выглядела она со своими пятью куполами и высокой шатровой колокольней, увенчанной наверху еще одной золоченой луковкой, поменьше. Болховитинов долго считал, что Церковь построена каким-то нашим архитектором (в прошлом веке русские любили бывать в Дрездене), но потом, к удивлению своему, выяснил, что строил немец – видно, из добросовестных, дотошно изучивший русскую церковную архитектуру.

По вечерам он обычно никуда не выходил, слушал радио или читал. Благо, книг хватало – знакомый старичок-букинист снабжал его французскими, а русские он привозил из Праги, одалживая там у знакомых. Ездить туда приходилось часто, это было единственным преимуществом его работы в «Вернике Штрассенбау»; у фирмы были в Протекторате два филиала (точнее, две бывшие чешско-еврейские фирмы, которые старый Вернике ухитрился «ариизировать» в свою пользу), но бывать там немцы не любили, поездки по железным дорогам становились все опаснее, да еще в оккупированную страну, к этим коварным чехам; на Болховитинова, никогда не отказывавшегося от командировок в Протекторат, смотрели как на избавителя.

В январе сводка ОКБ сообщила об очередном выравнивании фронта на Востоке, в ходе которого был оставлен Энск. Болховитинов уже знал об этом из сообщений Лондонского радио накануне, но теперь схема «выровненного» участка

была помещена в газетах – да, никакой ошибки, черная линия уже проходила западнее. Долго разглядывая схему, он думал о том, что вот теперь все, теперь действительно конечно. Раньше у него хоть появлялись какие-то бредовые мечтания: вдруг фронт там стабилизируется, а ему предложат съездить за чем-нибудь именно туда, и что-то удастся выяснить... А теперь как будто броневая дверь захлопнулась – намертво, навсегда.

Вскоре ему снова пришлось поехать в Прагу. Там уже чувствовалось приближение весны, башенные шпили и колокольни призрачно сквозили в тумане, часто шел мокрый оттепельный снег. Тихим и призрачным казался город, словно погруженный в свое прошлое; молча и торопливо шли прохожие по узким тротуарам, все городские шумы были приглушены, даже трамваи пробегали без обычного звона и скрежета. Неживую тишину пражских улиц нарушало лишь рычание патрульных вездеходов с номерными знаками войск СС.

Болховитинов побывал в нескольких русских семьях – здесь все было более или менее по-прежнему, колония жила обычной эмигрантской жизнью, только победнее да потише, ходили слухи о том, что немцы собираются в скором времени провозгласить нечто вроде «русского эмигрантского правительства» – именно здесь, в Праге. Называли разные имена, чаще всего генерал-лейтенанта Власова; формируемая им Освободительная армия – РОА – получит якобы прежнюю

русскую форму и войдет в состав германских вооруженных сил как одно из «самостоятельных» национальных формирований, наподобие словацких, хорватских и иных частей.

Слушая все эти разговоры, Болховитинов только диву давался. В то, что русская эмиграция сможет когда-нибудь стать реальной политической силой, с которой всерьез считались бы в Лондоне или Париже, он не верил уже давно. Предполагать, что с нею вдруг начнут считаться в Берлине, было еще глупее; даже в сорок первом году, когда создание марионеточного правительства могло быть оправдано пропагандистскими соображениями, этого не случилось. А сейчас, в сорок четвертом? Однако некоторые верили в такую возможность.

– ...момент, момент надо учитывать, – уверенно рассуждал старый штаб-ротмистр, от которого Болховитинов, встретив однажды на улице, не смог отделаться. – Что немцы для нас каштаны из огня таскать не собираются – это, ба-тенька, очевидно. Никто этого от них и не ждал. Но вы поймите другое! Немцы сейчас обмишурились по всем статьям; они уже не знают, за какую соломинку хвататься. Вот это мы и должны использовать. Вы говорите – поздно? Не-е-ет, ба-тенька, ошибки исправлять никогда не поздно, не извольте сомневаться! В немецких руках еще половина Малороссии, вся Минская губерния, Крым, Курляндия – это ненамного меньше, чем оставалось у большевиков в девятнадцатом году... ко времени «Московской директивы», ежели помните.

Товарищи-то, однако, на этой территории удержались – и еще какую державу отгрохали!

– Простите, не вижу связи, – сказал Болховитинов.

– Связь самая прямая! Совдепы почему устояли, вшивые да голодные, против отборнейших войск? Да потому, что духом были сильнее нас, а дух на войне – великое дело, в конечном счете именно он все и решает. Вот я и говорю, территория – дело десятое, было бы за что драться. И если немцы сейчас возьмутся за ум, дадут русскому народу ясную программу, дадут вождя – все еще может ох как обернуться!

– Какой это к черту «вождь»? Генерал, перешедший на сторону противника, считался и будет считаться изменником при любом режиме, при любом государственном строе и любой форме правления. И выдвигать его в качестве...

– Да я, батенька, не о Власове говорю, не горячитесь, – возразил штаб-ротмистр. – Есть же другой вождь, законный! Вождь, так сказать, Божьей милостью, легитимный наследник престола, его императорское высочество Владимир Кириллович. Что бы вы там ни говорили, а русский народ без царя не может. Все-таки идея помазанника...

– Позвольте с вами не согласиться, – сказал Болховитинов. – В России я не видел монархических настроений... по крайней мере, у молодежи, с которой мне приходилось общаться более тесно. Смею вас уверить – «идея помазанника» не вызовет там сейчас ничего, кроме недоумения. Как это ни печально, советская молодежь вполне довольна суще-

ствующим строем... хотя и видит все его недостатки. Главное в том, поймите правильно, что это их строй, они считают его своим, надеются улучшить со временем и не думают ни о каких радикальных переменах. Я уже не говорю о главном – сейчас, на третьем году войны, нелепо даже гадать о том, как встретят в России ту или иную политическую «программу», поддержанную немцами. От чьего бы имени она ни была провозглашена, для русского народа это будет немецкая программа – разработанная врагом...

Подобные разговоры ему уже приходилось вести и раньше, с другими знакомыми. Одни ругали немцев больше, другие меньше, одни делали ставку на Власова, другие – на Черчилля и Рузвельта, третьи уповали на неизбежные перемены в Советском Союзе после победоносного окончания войны и вспоминали декабристов; признаки этих перемен они видели уже сейчас – погоны в Красной Армии, совершенно новый тон советской пропаганды, вспомнившей наконец о царях и полководцах, и тому подобное. Люди эти были искренни в своем патриотизме, искренне хотели что-то понять, как-то разобраться в происходящем, – но как безнадежно далеки были они от той, настоящей, сегодняшней России!

Пожалуй, только здесь, снова очутившись среди соотечественников-изгнанников, в привычном когда-то эмигрантском мирке, Болховитинов полной мерой осознал свою потерю. И дело не в одной Тане, она была воплощением чего-то большего; он только теперь понял, что такое настоящая но-

стальгия – не те, прежние, туманные и романтические мечты о стране предков, которую он не знал, не помнил и считал своею скорее по традиции, – а вполне реальная, до смертной муки невыносимая тоска по родной земле. Тоска по ее климату, по июльскому зною и январским вьюгам, по ее солнцу, по ветру, по ее снегу и пыльным степным дорогам, по ее истерзанным бомбами городам и ее людям...

Однажды он от нечего делать забрел в кинотеатр возле Малостранской площади. Сеанс только что начался, показывали недельное обозрение – действия подводных лодок в Северной Атлантике, визит Геббельса в один из городов, пострадавших от террористических налетов, бои под Анцио, бои под Черкассами. Когда каменистый итальянский пейзаж внезапно сменился заснеженными приднепровскими полями, Болховитинов ощутил привычную глухую боль в груди. Расплескивались на снегу черные пятна разрывов, вьюжный ветер нес дым пожаров, подразделение штурмовых орудий спешно перебрасывалось к месту прорыва русских танков – колонна шла на большой скорости, видно было, как на повороте обледенелого грейдера резко заносит в сторону тяжелые гробоподобные корпуса «фердинандов». В зале дико и непривычно звучали названия черкасских сел, произносимых торопливым голосом немецкого диктора. А грейдер – весь в обледенелых, глянцево отсвечивающих на солнце колесах, разъезженный колесами и гусеницами, с высокой насыпью и бегущими вдоль нее покосившимися телеграфными

столбами – был точь-в-точь как тот участок Куприяновского шоссе под Энском...

«Wochenschau»¹⁹ окончилось, под разудалый чардаш выпорхнула на экран Марика Рёкк в окружении роя белокурых потаскушек. Болховитинов поднялся и стал молча протискиваться к выходу. Что он здесь делает, в этом душном зале кино – в Праге, в Протекторате, в «Крепости Европа»? Почему он не остался там прошлой осенью, почему не попытался достать фальшивые документы, дожидаться русских? Как бы ни сложилась потом его судьба, он не имел права уезжать, он должен был оставаться на земле, в которой похоронены его предки.

В этот свой приезд сюда он с особой беспощадной ясностью увидел, каким чуждым стал теперь для него привычный когда-то, хотя и вызывавший недовольство и насмешку, но все же родной ему эмигрантский быт. Как он мог раньше дышать этим затхлым воздухом, находить общий язык с выпавшими из времени и реальности людьми? «Вождь Божьей милостью, его императорское высочество», надежды на «национальное возрождение»... Недавно крестная опять сказала ему: «Да ты и вовсе обольшевичился там за этот год, сударь мой, и что это ты, право, назад вернулся – уж оставался бы там, в своей Совдепии, коли так по сердцу пришло».

Он вышел на площадь, не спеша побрел к Карлову мосту. Посреди моста остановился, ежась от дуящего вдоль Вл-

¹⁹ Здесь: еженедельный выпуск кинохроники (нем.).

тавы ледяного ветра, оглянулся на Малоостранскую сторону, потом посмотрел на Староградскую. Стобашенная «Золотая Прага» лежала вокруг него на обоих берегах – прекрасный и чужой, бесконечно чужой город. Он смотрел на готические кровли и барочные купола и видел перед собой Энск – старые каштаны среди развалин, заросшие сиренью и акацией переулки, заводские трубы над взорванными корпусами цехов. То, с чем он соприкоснулся в далеком украинском городе, виделось ему теперь в каком-то совершенно новом свете, в грозном и ослепительном озарении извечной драмы человеческого подвига. Мог ли он сам остаться теперь прежним – он, прикоснувшийся к молнии, хотя бы на одно мгновение ощутивший всем своим существом жар и грозовую свежесть ее испепеляющего разряда?

Вернувшись в Дрезден в воскресенье утром, Болховитинов позвонил Риделю и узнал, что на работе полный бедлам – еще трое десятников получили повестки, фактически фирма остается без среднего технического персонала, старик грозит теперь разогнать по объектам всех инженеров, и пусть все идет в свинячью задницу, начиная от деловой репутации «Вернике Штрассенбау» и до тысячелетнего Великогерманского рейха.

– Если патрон заговорил таким языком, – заметил Болховитинов, – тогда это и в самом деле серьезно.

– А ты сомневался? Завтра сам во всем убедишься. Боюсь, старина, что золотые деньки Аранхуэса для нас миновали,

хе-хе...

И в самом деле, в понедельник старый Вернике собрал сотрудников и объявил, что все проектные работы фирма прекращает, а господам инженерам придется отныне взять на себя функции прорабов, десятников и тому подобное – это уж как кому придется, в зависимости от объекта.

– Понимаю, что разумным такой способ использования ваших знаний не назовешь, – добавил он, – но убедить в этом вышестоящие инстанции я не сумел. «Никаких проектов» – было мне сказано, и сказано категорически. Даже в области вооружений фюрер дал указание прекратить все разработки, которые не обещают конкретных результатов в шестимесячный срок...

Далее шеф сказал, что пока еще плохо представляет себе, кого куда можно направить, и предложил сотрудникам представить предварительные соображения на этот счет – может быть, каждый подыщет себе объект, наиболее устраивающий его по тем или иным соображениям. Болховитинов сразу подумал про Остерберг – там пробивали какую-то штольню «промышленного назначения», как было сказано в проектом задании, – вероятно, для расположенного неподалеку оттуда фрейтальского сталелитейного завода. В Остерберге, насколько ему было известно, работали русские, он только не знал – военнопленные или «восточники».

Чтобы не вызывать подозрений, он выждал еще два дня, пока большинство объектов было распределено и страсти во-

круг этого поутихли, и пришел к шефу.

– А куда же мы денем вас, дорогой Больхо-фити-нофф? – осведомился тот, по обыкновению произнеся его фамилию так, словно второй ее половиной была немецкая «Фитингофф».

– Да мне, в общем, все равно, – ответил он, – самые удобные места, насколько понимаю, уже разобраны? – Он подошел к плану окрестностей и стал изучать, словно впервые видел. – Конечно, осталось что похуже... Во Фрейталь, держу пари, никто не вызывался. Что у нас там – подземные сооружения? Я мог бы, хотя не совсем мой профиль...

– Остербергская штольня практически готова, теперь туда будут подводить эстакаду, это проще. Вы крайне меня обяжете, если возьмете этот объект – туда действительно не нашлось желающих, далековато, да и опасность в случае налета...

– Ну, от налета никто и нигде не гарантирован, – беззаботным тоном сказал Болховитинов, – а живу я в той стороне, мне ближе. А что за завод?

– О! – шеф уважительно поднял палец. – Одно из предприятий концерна Флик – легированная сталь и всякие такие штуки. Но к заводу вы не будете иметь никакого отношения, мы лишь субподрядчики, да и территориально это в стороне. Там, кстати, используется иностранная рабочая сила, в том числе русские – вам проще будет объясняться.

Так вопрос и решился. Вечером к Болховитинову пришел

Ридель, принес бутылку сливовицы и сказал, что всегда был невысокого мнения о его, Кирилла, умственных способностях, но такой глупости не ожидал даже от него.

– Я уже почти договорился, что вместе пойдем на шоколадную фабрику – там действительно большая работа, они расширяют производство, строится новый цех и складские помещения. Так нет, черт его дернул выспаться на Фрейталь! А ко мне теперь подключили этого кретина Шреде!

– Шреде действительно кретин, я это еще на Украине понял.

– А ты думаешь, ты намного умнее? Ты из тех людей, которые сами усложняют себе жизнь! Ты вообще представляешь себе, что значит во время войны попасть на шоколадное производство? Я уж не говорю о том, что там полно баб!

– Воображаю, разгуляешься.

– Да уж будь спокоен. Но ты все-таки объясни, какая муха тебя укусила?

– Что тут объяснять, – Болховитинов пожал плечами. – Насчет твоих планов я не знал, а другие места были разобраны, вот я и подумал – а почему бы нет. Там русские работают, с ними мне будет проще.

– Ах, вот оно что, – Ридель понимающе покивал. – Ну, раз там твои русские, тогда все понятно. Я только тебе вот что скажу: не думай, что если ты легко отделался на Украине, то тебе и здесь все что угодно сойдет с рук.

– А что на Украине? Я там ничем противозаконным не

занимался.

– Ты-то сам, может, и не занимался, хотя я в этом не уверен, но уж точно занимались твои друзья. Или скажем точнее – подружка. С которой ты, держу пари, так и не удосужился переспать.

– Послушай, Людвиг, – сказал Болховитинов. – Я понимаю, у каждого свои представления о границах хамства, но когда ты говоришь со мной, изволь... сдерживаться. Или забирай свою бутылку и проваливай к черту, чтобы я тебя здесь больше не видел!

– Ладно, ладно, не петушишься. У тебя дурное настроение, я понимаю: ты уже сожалеешь об упущенных возможностях. Но утешься, время от времени я буду приносить тебе шоколадку и рассказывать об оргиях в упаковочном цехе. С тебя, мой целомудренный друг, хватит и этого. А сливовица совсем не плоха, верно?

– Югославская лучше.

– Согласен, но попробуй достань! Ее сейчас партизаны попивают. Скажи спасибо, что эту удалось организовать. Но ты все же поделился бы со мной своими планами касательно Фрейталя, вдруг что и подскажу, а?

– Никаких планов у меня нет, просто хотелось бы работать со своими соотечественниками.

– Ты уверен, что они признают тебя своим? Ну-ну. Нет, я отчасти тебя понимаю, что и говорить – мне тоже приятно бывает вдруг взять и встретить своего брата каканца...

– Кого встретить?

– Каканца, в смысле – выходца из доброй старой Какании. Моего, стало быть, земляка. Ты что, – спросил он, встретив непонимающий взгляд Болховитинова, – не читал Музиля?

– Не приходилось, а кто это?

– Ну что ты! Великий наш писатель, создал колоссальный роман, первый том которого никто не в состоянии одолеть. За других, впрочем, не поручусь; лично я не смог. Но, читая, получал массу удовольствия. Старую Австро-Венгрию он называет Каканией – у нас ведь эти две буквы – ка-ка, от «Король-кесарь», – входили в названия всех официальных учреждений, воинских частей и прочая. Королевско-кесарская почта, Королевско-кесарский Дебреценский полк легких улан, словом – сплошное кака. Музиль обыграл это совершенно гениально, ничего больше можно было уже и не писать. Но, признаюсь тебе, жить в Какании было легко и приятно, сейчас это уже вспоминается как неправдоподобный золотой век. Давай выпьем за прошлое, Кирилл, оно этого заслуживает. Сколько тебе было, когда началась война?

– Двадцать шесть, а что?

– Какие двадцать шесть, я имею в виду ту, первую!

– А-а. Год мне был тогда, так что я этого события не помню.

– Да, не успел ты, значит, пожить. Я-то захватил немного... гимназию, правда, закончил в шестнадцатом, тогда уже

было гнусно. Все шло к черту. Но все-таки мирной жизни я немного попробовал, по-настоящему мирной... потом ведь ее больше не было – двадцатые, тридцатые годы, там уже такое пошло грандиозное похабство! И подумать, что два человека пустили Европу под откос – этот здешний идиот Вильгельм и наш старый пердун, его апостольское королевско-ке-сарское величество Франц-Иосиф.

– При чем тут они, разве в них было дело, – возразил Болховитинов. – Слишком много действовало факторов.

– Факторы факторами, но войну затеяли эти двое. Если все объяснять закулисными причинами, то можно и Гитлера освободить от ответственности – Версаль, дескать, мировой экономический кризис и тому подобное. Я помню, в Граце, еще студентом...

– В Граце? Ты же говорил, что кончал в Мюнхене.

– Да это уже потом, в Мюнхене я окончил строительный. А в Граце изучал химию – я ведь тебе рассказывал!

– Впервые слышу, что ты еще и химик.

– Неужто не рассказывал? – удивился Ридель. – Нет, я не химик, но собирался им стать. После гимназии уехал и Грац и поступил там в Высшее техническое, проучился два семестра и был призван в ландштурм – к счастью, слишком поздно, чтобы успеть сложить голову где-нибудь на Изонцо. А когда наша Какания укакалась окончательно и пошел весь этот послевоенный бардак, стало уже не до науки. Работы тоже не было, хорошо, мой бывший профессор посоветовал

уехать в Германию, в Людвигсхафен, там при французах было все-таки полегче. А у него имелись связи в «Бадише Анилин», благодаря его протекции я туда и поступил. Решил, что практика не помешает. Ты чего не пьешь?

– Пью, просто за тобой не угнаться. Людвигсхафен был-тогда оккупирован французами?

– Естественно, он же стоит на левом берегу. В Мангейме, на правом, их не было. Итак, меня приняли подсобным рабочим на завод искусственных нитратов; это не в самом Людвигсхафене, а рядом, в пяти километрах ниже по течению Рейна. Такое местечко Оппау – не слыхал? Да, верно, ты же не химик! А для любого химика это все равно что Мекка для мусульманина. Мой профессор в Граце с гордостью говорил, что если бы не процесс Габера-Боша, у нас не было бы возможности вести войну...

– Ну, это я знаю – азот из воздуха вместо природной селитры?

– Совершенно верно. Чили-то вон где, с началом войны поставки селитры оттуда прекратились, но завод в Оппау был построен уже за год до этого, и проблема перестала существовать. Итак, прибыл я в это знаменитое место летом двадцать первого года, проработал два месяца... Ты помнишь, когда у меня день рождения?

– В сентябре вроде бы.

– Кирилл, ты настоящий друг! Сейчас мы прикончим эту бутылку, и я спую в твою честь нашу тирольскую застоль-

ную. Ты как относишься к йодлю? – потому что некоторые не ценят.

– Я охотно слушаю йодль, но не забудь, что уже поздно и хозяйева давно спят.

– Ну и черт с ними, пускай спят, я потихоньку. Хотя нет, потихоньку не получится, тут нужна сила! Ладно, в другой раз. Погоди, о чем это я...

– Ты спросил, когда у тебя день рождения.

– С какой стати я спрашивал у тебя про мой день – а, да! Вспомнил! Оппау, ну конечно же. Совершенно верно – двадцатого сентября мы, стало быть, слегка отпраздновали; перед этим была получка, так что было на что гулять. На следующий день я проспал – можешь себе представить? И проснулся от совершенно чудовищного грохота; будь это теперь, я подумал бы, что рядом упала шеститонная фугаска, но тогда таких еще не было, и вообще не было никакой войны, поэтому ничего понять было нельзя – грохот, кругом дым, кто-то орет, что-то трещит, рушится – конец света. А оказалось, что именно в то утро – когда я отсыпался после пьянки накануне – знаменитый завод искусственных нитратов компании «БАСФ»²⁰ попросту взлетел на воздух. Весь без остатка, милый мой, три тысячи жертв! Одних убитых было более пятисот – да и то приблизительно, поди разберись, чьи это там руки-ноги...

²⁰ Сокр. от «Badische Anilin-und-Sode-Fabrik» (нем.) – позднее вошла в концерн «ИГ Фарбен».

– И что вызвало такой взрыв?

Ридель с таинственным видом развел руками.

– Загадка века! До сих пор никто ничего не знает. Нитраты, я должен тебе сказать, вообще коварная штука – есть в них что-то дьявольское, непредсказуемое. Удобрение, которое вдруг становится сильнейшей взрывчаткой, и не поймешь почему. Словом, интерес к азотным соединениям из меня вышибло начисто; когда я увидел, что осталось от этого знаменитого Оппау, я сказал себе: Людвиг, старина, держись подальше от химии, ну ее в задницу...

– Понятно. И после этого, значит, ты поступил на строительный.

– Учиться в двадцать первом году? – ты смеешься. Я записался в Иностраннный легион к французам, в Бизерте сбегал, нанялся на Панамский фрейтер и стал плавать. Панамцы, видишь ли, принимали на свои суда любой сброд – без матросских книжек, вообще без документов, можешь себе представить, что это была за банда! А уж потом, поднакопив денег, вернулся и стал вести относительно добропорядочный образ жизни. Это уже неинтересно. Так ты завтра с утра во Фрейталь?

– Да, уже завтра с утра. Вообще, мы засиделись...

– Ухожу, ухожу! Кирилл, кроме шуток – будь осторожен на этой работе. Учти, могут подослать провокатора, поэтому не лезь к людям со всякими такими разговорами, в лучшем случае они примут за провокатора тебя самого. И вообще не

переоценивай здешних возможностей «что-то делать», это все ерунда. Ну а я завтра к шоколадницам! Йо-хооо!

Наутро, боясь опоздать, Болховитинов приехал на строительную площадку даже слишком рано. Было еще темно, шел снег с дождем, косо мелькая у синих фонарей вдоль ограды. Предъявив охраннику пропуск, он прошел через оплетенные колючей проволокой ворота и направился к сборному щитовому домику, на фасаде которого – черным по ярко-оранжевому – было крупно выведено: «WERNICKE Tief-Hoch-u-Strassenbau»²¹. Старик сторож, служивший в фирме с незапамятных времен, был уже на месте и успел разжечь печурку, так что в помещении было тепло.

Бегло просмотрев техническую документацию, Болховитинов спросил у сторожа, в котором часу приводят рабочих и кто они по национальности.

– Не могу знать, господин доктор-инженер, – отрапортовал тот. – У них нашивки на груди, стало быть, иностранцы.

– А какого цвета нашивки – сине-белые или желтые с фиолетовым?

– Никак нет, господин доктор-инженер, желто-фиолетовых не было!

Слава Богу, подумал Болховитинов, а то вдруг и в самом деле оказались бы поляки; ему только сегодня ночью пришла в голову мысль, что шеф вполне мог перепутать поляков с русскими – тогда вся затея оказалась бы бессмысленной.

²¹ «Прокладка дорог, подземные и высотные сооружения» (нем.).

Рабочая колонна подошла к семи часам. Начальник охраны, приведший ее из лагеря, отдал ведомость – сто семнадцать человек, по наряду полагалось сто двадцать, но трое больны и заменить их не нашлось кем. Болховитинов удивился – и ста семнадцати было более чем достаточно, при сравнительно небольшом фронте работ они и так будут мешать друг другу...

Пока шла выдача инструмента (ею ведал тот же сторож), он пригласил в контору всех пятерых капо. Начальник охраны уже объяснил ему, что русские работают под руководством своих бригадиров, которых здесь называют по-лагерному «капо», хотя никаких полномочий они формально не имеют – просто более опытные рабочие, умеющие к тому же худо-бедно объясняться по-немецки, так что практически все контакты осуществляются через них. Они уж сами смотрят, кого куда поставить, чтобы дело шло.

Пятеро вошли, кучкой стали у дверей – трое пожилых, двое помоложе. Болховитинов хотел было пригласить их садиться, но запоздало сообразил, что в конторе всего три стула.

– Да, – сказал он, выбираясь из-за тесно придвинутого к стене кульмана, – сесть-то, оказывается, негде – этого я не предусмотрел. Ну ничего! Я ведь просто хотел познакомиться – дело в том, что герр Енке получил повестку, его забирают в армию, так что вместо него теперь буду я. Ну-с, зовут меня Кириллом Андреевичем, по фамилии Болховитинов.

Как вы, наверное, уже могли догадаться, я русский – родился в России, на Орловщине, но в детстве по не зависевшим от меня обстоятельствам оказался за границей. А ваши имена-отчества я сейчас запишу – иначе просто не запомнить с первого раза... Прошу вас!

Стоявший с краю пожал плечами, переложил шапку из правой руки в левую.

– Ну, Тимофей я, по батюшке – Кузьмич, – сказал он, кашлянув. – Фамилию тоже говорить?

– Это потом, Тимофей Кузьмич, пока просто для знакомства...

Записав всех на листок настольного календаря, Болховитинов вернулся на середину комнаты и, крепко сцепив за спиной пальцы, обвел взглядом пятерых капо – те стояли с замкнутыми, ничего не выражающими лицами.

– Ну что ж, – сказал он весело, – надеюсь, мы с вами сработаемся без каких-либо конфликтов. Я, со своей стороны, постараюсь сделать все, чтобы облегчить вам... это временное положение. Если есть ко мне какие-нибудь вопросы – прошу вас.

Пятеро молчали отчужденно, потом тот же Тимофей Кузьмич опять кашлянул и переступил с ноги на ногу.

– Вы вот сказали: облегчить постараетесь. Это в каком же, примерно, смысле? Насчет харчей, что ли, или чтобы работать не по десять часов?

– Боюсь, вы меня не совсем поняли! Произвольно менять

общие правила или нормы я не могу, это не в моей власти. Я имел в виду другое – ну, чисто человеческие отношения, что ли! По правде сказать, ничего конкретного мне сейчас в голову не приходит, но я уверен, у нас не может не найтись каких-то общих... точек соприкосновения, что ли. В конце концов, мы ведь русские люди, – простите, вы что-то сказали?

– Я сказал, – капо помоложе, назвавшийся Борисом Васильевичем, смотрел на него враждебно, – что мы люди советские, и нечего тут тень на плетень наводить.

– Естественно, советские, – согласился Болховитинов, – кто же это оспаривает, но разве вы перестали быть русскими? Надеюсь, этого никогда не случится. Ну что ж – вот, собственно, и все, что я хотел сказать... для начала. У нас с вами еще будет много возможностей поговорить о чем угодно, а сейчас давайте тогда пройдем на площадку – покажете мне, что там с этой эстакадой. Идите, я вас догоню.

Капо вышли, он стал переодеваться в рабочее – натянул принесенный с собой толстый свитер, влез в комбинезон. Защитная каска из армированного бакелита лежала на столе, он посадил ее на голову и задумался, барабанив пальцами. Он был недоволен собой – понятно, первый блин комом, но все же... Как-то иначе надо было, совсем иначе. Но как?

Глава седьмая

Возможность побывать в Энске представилась Дежневу лишь спустя две недели после освобождения города, когда полк был наконец отведен в тыл для отдыха и восполнения потерь, понесенных в тяжелых боях под Звенигородкой. Приехал он в середине дня, на Челюскинскую заходить не стал, хотя мать в последнем письме и просила его, если доведется, навестить Старый форштадт. А чего там навещать? Скорее всего, матери просто хотелось, чтобы соседки (кто уцелел) убедились, что непутевый Сережка Дежнев «вышел в люди», стал офицером – да еще при погонах, словно старорежимный какой-нибудь дворянин.

Комендатура, где ему отметили командировочное предписание, разместилась на проспекте Фрунзе, неподалеку от парка. Эта часть города выглядела мало пострадавшей, развалины – старые, двухгодичной давности – начались только за площадью Урицкого. Точнее, уже на самой площади, где от громадного здания треста Электромонтаж остались одни присыпанные снежком железобетонные торосы. Дежнев давно слышал от встреченного на фронте земляка, что центр города немцы разбомбили еще тогда, в августе сорок первого.

Ночью мело, но сегодня с утра прояснилось, стало морозить, в разрывах между снеговыми тучами льдисто засветилось над развалинами студеное бледно-голубое небо. А раз-

валины высились вокруг в застывшем безмолвии – плоские пустые фасады, за которыми не было ничего, бесформенные холмы, торчащие из-под снега ржавые швеллера, куски внутренних стен с висящими на погнутых трубах батареями отопления. На выщербленном крупными осколками брандмауэре, оставшемся от трех-или четырехэтажного дома, можно еще было прочесть рекламу Госстраха.

Снег был нетронут – в этом районе люди не жили уже давно. От тишины и безлюдья Дежневу стало не по себе: остановившись и прислушавшись, он машинальным движением протянул руку к пистолету – носил его не по-уставному, а на немецкий манер: на животе слева, рукояткой вперед (а что, так действительно куда сподручнее, у фрицев и это продумано, по части оружия они мастаки, что и говорить) – и только потом, опомнившись, выругался сквозь зубы и пошел дальше, размашисто давя сапогами скрипучий снег. Нервничаясь, капитан, город-то уж две недели как наш... Хотя всякое, конечно, бывает, на этой стороне Днепра уже отмечались случаи нападения в тылу – и не немцы даже нападали, а обычно их пособники, полицаи разные, не успевшие смыться, а то и просто уголовная шпана... Немцы, те в тылу не воюют – попав в окружение малыми группами, стараются на первых порах догнать своих и прорваться, ну а если не вышло – спокойно идут в плен. Разве что, может, эсэсовцы там какие-нибудь из фанатичных...

Он шел, оглядываясь и посматривая по сторонам, с тру-

дом распознавая знакомые когда-то здания и места. Вот здесь вроде был писчебумажный магазин – точно, два окна, он еще покупал здесь тетради в клеточку... Но где же тогда обком? Дальше, обком был дальше – следующий квартал. Потом он увидел и то, что осталось от обкома.

Осталось от него немного, но Дом комсостава напротив стоял почти нетронутый – так, во всяком случае, казалось издали. Подойдя ближе, капитан убедился в своей ошибке. Здание не обрушилось и не сгорело, но его, видно, так потрясло, что оно едва устояло на фундаменте. Вон, даже оконные рамы к черту повырывало... хотя рамы могли потом и на дрова растащить, это вернее всего. Так или иначе, Дом комсостава был нежилым, и, видно, уже давно. Наверняка с того самого августа.

Дежнев вошел в пустую арку ворот, оглядел двор – посреди лежал на днище раскулаченный, без колес, кузов немецкой легковушки – и направился к знакомому подъезду. Лестница была завалена битым кирпичом, отвалившейся с потолка штукатуркой, перил не было, на площадке валялся высохший, как мумия, труп кошки. Капитан замедлил шаги. Зачем он сюда пришел? Ясно, что Тани здесь быть не может, кто станет жить в таких развалинах! Нечего даже было сюда идти, надо было сразу к кому-нибудь из тех, кто жил не в центре, к Володьке на Подгорный, к Людке Земцовой на Пушкинскую, к кому еще? Он попытался припомнить адреса других одноклассников – безуспешно, нет, других он

так близко не знал, ну, кто там – Инка Вернадская жила, кажется, неподалеку от Земцевых – да к ней, к ней надо было прежде всего, к Людке – кто же еще может знать, как не она...

Потом он вдруг сообразил, что если Таня в городе, она должна оставить о себе весточку именно здесь, по прежнему адресу. Конечно же, все так делают! Нет, выходит, не зря его сюда потянуло... Он стал торопливо подниматься – еще один марш – окно во двор – и, добравшись до третьей площадки, сразу увидел бледную, полустершуюся надпись углем на уцелевшем куске штукатурки возле зияющего дверного проема: «Николаева живет на Пушкинской, дом 16». Сумеречный свет скупо просачивался на площадку, но он сразу увидел эти слова, выведенные крупным ученическим почерком – как она когда-то писала мелом на доске, и эти едва различимые линии ударили его с такой силой, что ему показалось – пошатнулся дом. А может быть, это он сам пошатнулся. Он стоял и смотрел, потом сделал еще несколько шагов и осторожно коснулся ладонью холодной шершавой штукатурки. Надпись была сделана давно, очень давно.

– Танюша, – сказал он хрипло, – Танюша моя родная...

И кинулся вниз по лестнице, спотыкаясь и обрушивая сапогами мусор и куски кирпичей.

Он почти бежал всю дорогу. Опять мимо руин обкома, за угол, по Коцюбинского, мимо разрушенной ограды биоинститута и дальше, дальше. Скорей, скорей! Она, наверное,

ждет его уже давно, все эти две недели, ну или хотя бы письма от него ждет – интересно, как скоро налаживается почта в освобожденных местах – его-то самого она ждать не может, это понятно, откуда же ей знать, что он оказался здесь, что неправдоподобная удача привела его именно сюда, именно на этот участок фронта... Но все равно скорее! А может быть, она ходит сейчас по улицам, спрашивает – в каждом освобожденном городе сотни женщин останавливают солдат, хватают за рукава, спрашивают: не видели ли, не слышали, не встречали... Скорее – теперь уже совсем близко!

Он добежал и увидел знакомый забор, ржавую калитку, палисадник. Ворота были распахнуты, снег за ними истоптан, глубоко прочерчен сдвоенной рубчатой колеей «студебеккера» – грузовик загнали правее дома, в изломанные кусты сирени, где когда-то стояла у Земцевых старенькая покосившаяся беседка. Они с Володькой несколько раз обещали Люде ее починить, да так как-то и не собрались...

Он взбежал на крыльцо, без стука рванул дверь в прихожую, потом другую – в коридор. В коридоре было натоптано мокрыми валенками, валялась пустая немецкая катушка от полевого телефона. Перед гудящей печью сидел на корточках солдат, отвернув от жара лицо, заталкивал в дверцу охапку наколотых досок.

– Дверь, дверь зачиняй, какого хрена выхолаживаешь! – закричал он, не глядя. Потом оглянулся и торопливо встал: – Извиняюсь, товарищ капитан! Холодно здесь дюже – дом

нежилой, рази ж его натопишь...

– Чье хозяйство? – спросил Сергей. Солдат ответил что-то, он уже не слушал. Заглянул в одну комнату, в другую – ни мебели, ничего. В бывшем кабинете Галины Николаевны трое бойцов, весело переругиваясь, расстилали на полу трофейный брезент, оживленные голоса других слышались на кухне.

– Здесь что, никто не жил? – осипшим внезапно голосом спросил он у того, что топил печку.

– Видать, другая часть стояла, мы-то только вот заступили, – ответил солдат. – А гражданских вроде не было никого, товарищ капитан...

Дежнев постоял еще, пытаясь что-то сообразить, повернулся и вышел. Небо тем временем совсем расчистилось, стало еще холоднее, низкое малиновое солнце уже не грело. Нащупав в кармане пачку «Звездочки», он закурил, пощелкав австрийской, не гаснувшей на ветру зажигалкой. Спокойно, сказал он себе, только спокойно и без паники. Что дом стоял пустым – ни о чем еще не говорит; в каждом населенном пункте, через который прокатилась война, остаются сотни пустующих домов, и это не обязательно означает, что с жильцами что-то случилось. Могло, конечно, случиться, а могли и просто выселить – те же немцы, когда держали оборону, наверняка загнали в город столько войск, что мест для постоя не хватало, вот и выселяли. Но у кого узнать? Бежать на Подгорный – далеко, Володька-то должен знать, ес-

ли он здесь, хотя это вряд ли... Парня его возраста немцы и в Германию могли угнать, хотя в любом случае семья или соседи...

Соседи! – ударило его вдруг. Что это он, в самом деле, стоит тут как дурак, растерялся, не знает, что делать. Да вот же они, соседи, живут ведь в соседних домах – что же они, не знают, что случилось с жильцами этого? Кляня себя за несообразительность, Дежнев швырнул папиросу и побежал через улицу – к домику напротив, где из трубы тоже шел дым. Калитка оказалась на запоре, он дернул ее, нетерпеливо забряцал язычком щеколды.

– Хозяева! – крикнул он громко. – Эй, там, в тринадцатом, есть кто? Хозяева!!

На крыльцо вышла женщина в накинутой на голову шали.

– Занято, занято все! – закричала она плаксиво. – Сколько ж можно – почитай человек уже двадцать, ступить в доме некуда!

– Да я не ночевать, – сказал он, – на что мне ваш дом. Идите-ка сюда!

Женщина не тронулась с места.

– А что вам надобно? – спросила она с опаской, вглядываясь в посетителя.

– Откройте, я сказал! – взорвался Дежнев неожиданно для самого себя. – А то расшибу к чертовой матери!

Он и в самом деле грохнул в калитку сапогом – она распахнулась, жалобно звякнув отскочившей щеколдой. Хозяй-

ка уже бежала от крыльца.

– Давно здесь живете? – спросил Дежнев, ступив ей навстречу.

– Давно, давно, – женщина закивала, – почитай, с самой коллективизации, и при немцах тут страдали – горя сколько от иродов натерпелись, это не приведи Господь, если б не вы, освободители наши...

В голосе ее снова появились плаксивые нотки, капитан почему-то почувствовал к ней острую неприязнь.

–

– Ладно вам, – сказал он, – это меня не интересует, насчет страданий газетчикам будете рассказывать. Земцевых вы знали – вон напротив, в шестнадцатом?

– Знала, товарищ командир, знала, как же, очень даже хорошо знала, – хозяйка теперь чуть ли не кланялась. – И Галину Николаевну знала – культурная такая была дама, самостоятельная, – и Людочку ихнюю, обеих знала, а как же...

– Где они сейчас?

– Так ведь Галина-то Николаевна эвакуировалась, аккуратно как немец бомбить стал. А Людочку бедную угнали в Германию вскорости, сразу после Ноябрьских.

– Еще жил там кто-нибудь?

– А как же, товарищ командир! Главная ихняя переводчица жила, Татьяной звали. Ой, до чего ж вредная девка – прямо сказать – потаскуха, служила у них – гордая такая, нос кверху, идет это по улице и не посмотрит, слова не скажет,

будто не люди вокруг. А ведь сама с кем только не путалась, то у ей один, то другой, и хлопец этот блондинистый тоже, небось, неспроста...

– Да ты что, – бешеным шепотом сказал Дежнев, когда прошел первый мгновенный шок и его губы снова обрели способность выговаривать слова, – ты что мне врешь, старая дура, ты соображаешь, что говоришь?!

Он схватил ее за плечо и тряхнул так, что она подвизгнула.

– Да истинная же правда, товарищ командир! – завопила она истошно. – Ну хоть кого спросите по соседям – вся улица ее знала, так немецкой подстилкой и называли – провалиться мне, вот те истинный крест! Она ведь сперва в магазине работала, в комиссионке, одежей они тут с одним торговали – ну, известно, народ голодный сидел, так они, значит, и пользовались, наживались на чужой беде. А после в гестапу пошла служить, уж и одеваться стала по-модному, а немцы к ей на машинах так и шастали, так и шастали – и военные, и в гражданском, один по-русски чисто так говорил, и не скажешь, что из фашистов! Она на машине и уехала – черная такая машина, вся сплошь лаковая, – немец на улице поджидал, она после выходит с чемоданчиком, как принцесса, он еще дверку за ей прикрыл да подергал. Так и укатила, больше ее, срамницу, и не видали! Люди говорили, с самим гебиц-комиссаром жила...

До сих пор он почему-то слушал, не прерывая, потом дол-

го не мог понять – что заставило его тогда выслушивать все эти гнусности, не мог же он поверить хотя бы сотой доле – или все-таки было, мелькнуло сомнение хотя бы тенью? – а вдруг... да нет, нет, не было этого, просто второй волной снова ударил по нему тот же болевой шок, словно отключив способность осмыслить и понять до конца; но это сразу прошло – он понял, ужаснулся: «Как же я позволяю – такое – о ней?»

– Брешешь, сволочь! – бешено крикнул капитан. – Я вот тебя сейчас – как собаку!!

Хозяйка, вырываясь, закричала дурным голосом. Хлопнула дверь, забухали с крыльца сапоги. На Дежнева навалились сзади, он вывернулся, потеряв шапку, снова очутился в тисках. «Тише, тише, браток, – уговаривал кто-то, заломив его локти за спину и дыша водочным перегаром в самое ухо, – ну чего шухер поднял...»

– Пус-с-сти, – хрипел Дежнев, шатаясь под тяжестью навалившихся на него, и пытался дотянуться до пистолета. – Пусти, говорю, я ее сейчас, фашистскую гадину...

– Да бросьте, товарищ капитан, охота вам под трибунал из-за всякого дерьма! Не связывайтесь, тут есть кому фрицевскими прихвостнями заняться, разберутся со всеми...

– Да сыночки! Да милые же! – вопила баба. – Да что ж это делается, что ж он напраслину на меня, я ж ему про переводчицу ихнюю рассказала – вон напротив жила, кто ж ее не знал! – а он меня ж теперь фашисткой и обзывает! Да что

ж это, родненькие!

– А ну, цыть! – прикрикнул кто-то. – Расшумелась тут, старая зараза!

Хозяйка крысой шмыгнула в дом. Бойцы отпустили Дежнева, расступились, кто-то поднял его ушанку и отряхнул от снега. Он нахлобучил шапку, стоял ни на кого не глядя, загнанно дыша.

– Спасибо, ребята, – сказал он тихо и пошел к калитке. Потом обернулся: – Бабу-то не трогайте, я про нее ничего не знаю... Дура какая-то малахольная, язык без костей, вот и психанул...

На углу остановился, опять закурил, стал жадно затягиваться, не ощущая вкуса. Зайти еще к кому-то здесь по соседству – зачем? Чтобы еще раз услышать то же самое? Это проклятое бабье если уж кого ославит... Что Таня работала у немцев – это, наверное, факт, такого не придумаешь, если не было. Именно этого он и боялся – давно уже, с той встречи с Николаевым в позапрошлом году, в Москве, когда генерал рассказал ему о дошедших из Энска новостях о каком-то комсомольском подполье; он ведь тогда сразу – как только узнал, что Кривошеин оставлен по заданию, – сразу понял, что Лешка втянет и Таню, не останется она в стороне... Но где она могла работать, неужели и в самом деле хватило ума сунуть ее прямо в гестапо, или это уже домысел? Он понимал, что едва ли сумеет выяснить все сегодня или завтра (срок командировки был двое суток, больше он здесь

задерживаться не мог), но в то же время и уехать, не узнавши всего, было невысказано, он не представлял себе – жить дальше, не зная о сегодняшней Тане ничего, кроме услышанного только что...

Но у кого узнавать, к кому идти прежде всего – к Глушко? Замостная слободка черт те где, это через весь город бежать, может, есть кто поближе? К Женьке Косыгину? Этот жил в центре, там все разбито. Или к Улагаю? Сашки Лихтенфельда наверняка нет, Дежнев еще в сорок первом слышал, что всех немцев выселили в Среднюю Азию. Если успели, конечно. Были еще девчата – Полещук, Лисиченко, но их адресов он не знал, никогда не интересовался...

Он решил идти к Глушко, уж Володька-то – если в городе – должен знать все точно, но по пути вспомнил вдруг, что гораздо ближе, где-то возле «Ударника», живет Сергей Митрофанович – ну точно, на Карла Либкнехта, он еще один раз книги из школы помогал ему нести!

Номера дома он не помнил, но узнал его сразу – старый трехэтажный дом с башенкой на углу, стоит, как и стоял, только еще более облупленный, да стекла во многих окнах забиты фанеркой. Дежнев без труда отыскал и квартиру, постучал. Долго не открывали, он уже стал бояться, что и здесь никого не найдет, потом наконец послышались за дверью шаги, женский немолодой голос спросил, кто там, он ответил, что к Свиридовым. Дверь не сразу открылась. Сестру Сергея Митрофановича Дежнев узнал сразу, хотя видел ее раньше

всего два-три раза.

– Здравствуйте, – сказал он, – вы меня не помните, наверное, я ученик Сергея Митрофановича – Дежнев Сергей, из десятого-Б, последний выпуск, я был у вас тут один раз...

– Дежнев, – повторила она, – Дежнев, что-то знакомое... Ах, ну конечно же! Дежнев, конечно, брат называл мне вашу фамилию совсем недавно...

– Так Сергей Митрофанович в городе? – спросил он с облегчением.

– В городе, да... Вы проходите, сейчас я вам все объясню. Сюда вот, пожалуйста... и не раздевайтесь, у меня холодно...

Следом за Свиридовой (он не мог вспомнить, как ее зовут, а спросить было неловко) он вошел в ободранную комнату с какой-то нищенской обстановкой – закопченная кастрюлька на покрытом рваной клеенкой столе, фанерный кособокий шифоньер, потолок с обвалившейся штукатуркой, в косой штриховке дранок.

– Дело в том, что брата арестовали на прошлой неделе, – сказала Свиридова, придвигая ему стул. – Садитесь, прошу вас...

– Как арестовали? – спросил Дежнев оторопело. – Наши? За что?

Свиридова пожала плечами.

– Как будто обязательно надо «за что». Но тут хоть была зацепка – он ведь преподавал в немецкой школе... Да, вы не в курсе, конечно. Немцы здесь в позапрошлом году, осенью,

открыли несколько начальных школ; они, правда, не проработали и до середины третьей четверти, но так или иначе... Я ему говорила: зачем тебе это, но вы ведь знали его, он умел быть упрямым... Считал, что лучше свой учитель, чем какой-нибудь немец из колонистов или вообще неизвестно кто. Ну, и надо ведь было на что-то жить, об этом тоже не следует забывать, а работы в городе практически не было... Кто помоложе и посильнее, те как-то устраивались, а что мог брат? Мы к тому времени распродали уже все, что имело хоть какую-то ценность в такое время, остались только его книги – на них просто не было спроса, – да и то, как «остались»? – половину сожгли... Впрочем, вам это все неинтересно и ненужно. Вы пришли узнать о друзьях?

– Да, я... только сегодня приехал, пытался тут разыскать кое-кого и вот – вспомнил, что Сергей Митрофанович должен знать...

– Видите, он как в воду глядел. При немцах не говорил мне ни слова – даже после этой истории с Глушко...

– Какой истории?

– Ну как же, Глушко – ваш одноклассник – прошлым летом застрелил здесь какого-то высокопоставленного немца. Ну, и сам погиб. Брат мне тогда ничего не сказал. И только вот теперь, как только их прогнали...

– Глушко? Глушко – застрелил немца? – переспросил он оторопело. – И погиб, вы сказали? Володька Глушко?

– Да, да, это была громкая история, его фотографии были

расклеены по городу – немцы объявили вознаграждение, если кто назовет родственников или друзей. И только вот две недели назад брат признался, что был отчасти в курсе, и рассказал мне все, что знал. На случай, если кто-нибудь будет спрашивать, сказал он и, в частности, назвал вас. Он прекрасно понимал, что его могут посадить, поэтому рассказал мне...

– Что он говорил о Николаевой, Тане?

– Танечка работала в гебитскомиссариате, это и я знала, это знали многие. Она, боюсь, вела себя не очень осторожно, а впрочем, не знаю, может быть, это ей было нужно...

– Что вы... имеете в виду? – выговорил он через силу.

– Она несколько... афишировала, что ли, свое положение немецкой служащей. На открытии выставки, например... зачем ей надо было стоять на трибуне вместе со всеми этими оккупационными чинами? Стоять у всех на виду, переговариваться с каким-то офицером, улыбаться – не знаю, впрочем, скажу еще раз – не мне судить, вероятно, это действительно было необходимо. Коль скоро она туда пошла...

– Но почему пошла? Почему?

– Ах, ну это понятно! Я и сама подозревала, это было задание подполья, тех же, что и листовки выпускали, у них Алексей Кривошеин был руководителем, но эту деталь я, естественно, узнала только вот теперь, от брата! Танечка ведь раньше работала продавщицей в «Трианоне» – я туда тоже кое-что сдавала иногда на комиссию, – и когда она оттуда

уволилась и пошла работать в областное управление, я сразу подумала, что это неспроста... Но это печально, конечно. В городе о ней говорили плохо, ее часто видели с каким-то немцем... Самое странное, конечно, это то, что она исчезла – именно тогда, когда погибли Кривошеин и Глушко... Нет, ее не арестовали, она просто исчезла...

Свиридову позвали из-за двери, она извинилась и вышла. Дежнев навалился локтями на стол, стиснул голову в ладонях. Значит, все-таки не гестапо – и на том спасибо, что в каком-то там мать-его-комиссариате. Но зачем? Какой был смысл? Кто придумал эту проклятую «подпольную деятельность» в немецком тылу, какой от нее был толк, какая кому польза? Послать девчонку во вражеское кодро, заставить «афишировать» – а что же ей еще оставалось делать, раз она там работала, кричать, что ли, «смерть немецким оккупантам»? Наверняка и улыбалась, попробуй не улыбнись... Что они в самом деле, с ума, что ли, посходили! Ладно на фронте – там не приходится думать, кого на смерть посылаешь, солдат есть солдат, но здесь-то, здесь... Мало того, что отступили, бросили, эвакуацию – и ту провести по-человечески не сумели – так нет же, еще мало показалось крови, пошли разжигать всю эту партизанскую героику...

– Почему вы не думаете, что Николаеву немцы арестовали? – спросил он, когда Свиридова вернулась.

– Не знаю, конечно, но об этом стало бы известно... Я скажу больше – они и сами не знали, где она! Тут работал

один русский из эмигрантов, не военный, просто инженер, строил что-то. Он знал Танечку и был знаком с братом; так вот, уже после всех этих событий он однажды ему сказал, что тоже опасался, не арестована ли она, и наводил справки через немцев, но те ничего о ней не знали...

Дежнев почувствовал, что вообще уже перестает что-нибудь понимать – еще и эмигрант какой-то, а этот каким образом сюда затесался? Но большего, видно, все равно пока не узнать. Он дал Свиридовой номер своей полевой почты и сказал, чтобы обратилась к нему в случае, если что понадобится.

– Сергею Митрофановичу, если свидание дадут, большой от меня привет, – сказал он. – Насчет немецких этих школ, что бы там ни было, но до войны я Сергея Митрофановича знал очень хорошо – ну, как ученик может знать учителя – и если будет нужно, напишу и подпишу все, что надо...

Странно как-то все это, думал он потом, выйдя на безлюдный Коминтерновский проспект, вроде и не в свой город вернулся. Два с небольшим года оккупации – а уже люди стали другими, не всегда их поймешь... Чтобы Сергей Митрофанович учительствовал в фашистской школе? «Не было работы», «немцы даром никого не кормили» – выходит, когда работа находилась, люди спокойно шли и работали как ни в чем не бывало? Действительно, а как жили при немцах, каким был повседневный быт, как выглядела оккупация изнутри?

Вот уже больше года капитан Дежнев, как и миллионы его товарищей по оружию, то и дело сталкивался с ее, так сказать, внешней стороной, с ее страшным «фасадом» – в освобожденных местах; начиная от Сталинграда, не раз находили то ров с расстрелянными, то штабели трупов в лагерях военнопленных, – да что год, ведь уже в декабре сорок первого, под Москвой, видел он оставленные врагом пепелища, видел на снегу только что снятое с виселицы тело девушки, чье имя (тогда еще никому не известное) облетело потом весь мир...

Но за этим было и что-то другое – ведь не все в оккупации попадали на виселицы, за колючую проволоку или в противотанковые рвы: с какой бы производительностью ни работала фашистская машина террора, она все равно не могла перемолоть всех, – так вот эти, уцелевшие, дожившие до освобождения, – как жили они все это время?

Об этом Дежнев имел до сих пор, в общем, довольно слабое представление: узнать что-то можно было лишь с чужих слов, а рассказы освобожденных бывали обычно сбивчивы и как-то маловразумительны – да и не всему в них верилось, по правде сказать. Странно, но только сейчас, в разговоре со Свиридовой, ему вроде бы что-то приоткрылось...

Надо все-таки сходить в Замостную слободку, решил он. Родных разыскивали, значит, они прятались где-то, а сейчас, возможно, вернулись? Может, помочь чем-то – деньгами хотя бы, деньги у него были (он только сейчас, запоздало, подумал, что надо было предложить и Свиридовой, она ведь

наверняка тоже бедствует); отца Володькиного вроде сразу тогда призвали, мать, значит, с двумя пацанами теперь осталась...

Когда добрался до слободки, уже начинало смеркаться. Дежнев прошел из конца в конец весь Подгорный спуск, повернул обратно – и только тут сообразил, что пустырь с давнишней и уже полузасыпанной бомбовой воронкой и есть все, что осталось от усадьбы Глушко. Без следа исчез не только крытый белым этернитом домик, построенный перед самой войной и запомнившийся ему запахами краски и штукатурки и клейкими золотистыми подтеками смолы на свежеструганных притолоках, исчезло вообще все – сарайчик, летняя кухонька, забор, даже посаженные Василием Никодимычем яблоньки и кусты сирени. Это было понятно – за две оккупационные зимы соседи разобрали на топливо все, что могло гореть, – и все же пустырь выглядел таким диким и неправдоподобным, что Сергей, стоя на краю воронки, невольно огляделся в поисках хотя бы одного знакомого ориентира. Да, все правильно – вон тот тополь на соседнем участке... Володька еще говорил, что пользуется им как солнечными часами – даже таблицу поправок составил... Эх, Володька, Володька, вихрастый «романтик», изобретатель, энтузиаст реактивного движения...

Капитан машинально прикинул диаметр воронки, профиль выброса. Фугасная двухсотпятидесятка, и скорее всего, немецкая, значит, еще тогда... да это и видно, что дав-

нишняя, края уже почти сровнялись. Неужели кто-нибудь из Володькиных...

Он обошел несколько соседних домиков – в двух жили новые люди, поселившиеся здесь год-полтора назад, в третьем дверь открыл какой-то глухой и ничего не соображающий дед, и только в четвертом наконец удалось кое-что узнать. Да, Глушко погибли все – кроме Володи – в ту первую бомбежку, в августе сорок первого; сам он был где-то в плену, сюда вернулся зимой – нет, не жил, просто приходил один раз, жил он где-то в другом месте. Этим летом, после убийства гебитскомиссара, сюда несколько раз приходили – и из «допомоговой полиции», и немцы какие-то в цивильном – все спрашивали, интересовались...

Дежневу вдруг захотелось напиться до беспмятства. Он вспомнил, что где-то здесь неподалеку жила еще одна их одноклассница, Ира Лисиченко, можно было бы разыскать, но он чувствовал, что это уже будет выше его сил. Напиться бы в самом деле, да где напьешься, остается одно – обратно в комендатуру, отметить убытие и первой же попуткой уехать. Ну, побывал в родных местах, ничего не скажешь...

Самым ужасным было то, что Танин образ вдруг распался в его душе, в памяти, в представлении; еще вчера она была самой близкой, знакомой до мельчайшей подробности, живой – будто расстались месяц назад. А теперь он вдруг осознал, что той Тани больше нет, что она перестала существовать, исчезла; даже если и физически невредима, даже если

ей удалось спастись – все равно это уже не она, она изменилась внутренне, не могла не измениться, не стать совершенно иной, непохожей на ту, прежнюю, довоенную. Та не могла бы стоять на трибуне с немецкими офицерами, пересмеиваться с ними на виду у всех. Нет, он сейчас нисколько не осуждал эту, теперешнюю, слишком мало о ней знал, чтобы не то, что осуждать – вообще судить. Если и было тут кого осуждать, так это тех, кто послал ее на это; но все равно, это уже была не та Таня, совсем не та...

Сеню Лившица он встретил не дойдя до комендатуры, и очень кстати, потому что первыми словами Сени было: «Слушай, откуда ты взялся – пошли у нас тут небольшой сабантуй» – будто и впрямь судьба подслушала его желание выпить; да и сам Сеня был хороший парень, даром что газетчик, поэтому Дежнев пошел и только потом поинтересовался, по какому поводу сабантуй.

– Странный ты человек, как будто обязательно должен быть повод, – ответил Лившиц, словно телеграмму вслух зачитал. – Но в данном случае повод действительно есть – обмываем высокую правительственную награду – наш главный оторвал орден.

– Это что же, журналистская ваша братия гулять будет?

– Не только, почему же, не все ведь разделяют твои теплые чувства к нашей братии. Ты бы, кстати, объяснил когда-нибудь, чем они вызваны.

– Чем вызваны... – Дежневу не хотелось сейчас затевать

спор, но и отмалчиваться счел излишним. – Больно уж правдиво о войне пишете, вот чем.

– Абсурдная претензия, комбат, кому она нужна – твоя правда. Ты, как я понимаю, не наши фронтовые многотиражки имеешь в виду...

– Нет, понятно, с вас какой спрос... вы свое дело делаете, о подвигах рассказываете, боевой опыт распространяете, от вас большего и не требуется. Я выше беру... Ты вот представь себе – лет через пятьдесят решит кто-нибудь об этой войне написать и начнет листать старые подшивки. Что за хреновина, подумает, немцы все сплошь были трусы да кретины, у нас одни герои – по два танка зараз одной поллитровкой поджигали, – непонятно выходит, кто же этих героев гнал аж до самой Волги...

– Наивен ты, как младенец, воюешь уже третий год, а ума не нашёл. Газетные статьи не для будущих историков пишутся, а для тех, кто сегодня в тылу ищачит, чтобы вам было чем воевать. Сам подумай, можно ли им говорить все, как оно есть на самом деле. Знаешь поговорку, нигде так не врут, как на войне и после охоты...

– Ладно, тебя не переспорить. А вы что, уже сюда перебазировались?

– Так точно уже четвертый день со всеми прочими дивизионными тылами. Возможно, кстати, увидишь свою приятельницу Сорокину, она недавно о тебе осведомлялась.

– А-а, – неопределенно откликнулся Дежнев. Назвать сер-

жанта Сорокину его «приятельницей» было, пожалуй, не совсем точно; хотя на фронте кто только ни приятель. Им за это время случилось встретиться еще два-три раза, и они даже как-то незаметно перешли на «ты» – так что, может, и в самом деле приятельница; во всяком случае, хорошо, что она сегодня будет, а то там наверняка сплошь народ ему чужой – в полку дело другое, но на уровне дивизии у капитана Дежнева знакомых было не много.

Веселье, когда они пришли, было уже в разгаре, Сеню Лившица встретили шумными приветствиями, пришлось пить штрафную – Дежнев был уверен, что вырубится немедленно, все-таки стакан водки на пустой желудок; но ничего подобного не произошло, он вообще не почувствовал никакого действия.

Сорокина действительно была здесь, он приветственно помахал ей через стол. Потом, когда несколько пар пошли танцевать под хрипучий и спотыкающийся патефон, он пересел к ней.

– Привет, Леночка, – сказал он, – рад тебя видеть – хоть одно знакомое лицо.

– Я тоже рада, а что ты тут делаешь?

– Командировку себе выбил, это ведь мои родные места, учился здесь, на фронт отсюда ушел...

– Ах вот что, я и не знала. И родные здесь?

– Нет, мать с сестренкой в Тулу перебрались еще до войны. Друзей было много.

– Было?

Дежнев молча кивнул, налил себе; потом, спохватившись, потянулся с бутылкой к ее стакану – она быстро прикрыла его ладонью.

– Не надо, Сережа, не могу.

– А я выпью, мне сегодня так хотелось напиться – не получается, идет как вода...

– Ты, наверное, перенервничал, алкоголь в таких случаях не действует. Узнал что-нибудь... плохое?

– Да уж, наслушался. Ну что, пойдём пофокстротим, трянем стариной?

– Не надо, нет. Я вообще думаю скоро уходить. Ты останешься?

– Не знаю, может, и посижу еще. Вообще-то я не знаю здесь никого, меня ведь Сеня затащил – хороший парень, я из-за него и пошел.

– Лившиц? Да, он симпатичный, – согласилась Лена.

– Понимаешь, я его на передке видел, потому и говорю. Он ведь не из тех, о ком нашему брату на ка-пэ звонят и сообщают строгим голосом: «К тебе товарищ корреспондент едет, прими там, обеспечь безопасность» – и все такое. Вот тех паразитов видеть не могу... сидел бы уж у себя в Москве, если тебе на фронте безопасность требуется.

– Ну, тут ты не совсем прав, я думаю. Вряд ли сам корреспондент этого требует, скорее местное начальство себя подстраховывает. После того случая со Ставским...

– Не знаю, кто там кого подстраховывает, а все равно противно. И приезжает зачастую молодой амбал вполне призывного возраста – это как? Есть ведь у нас старые писатели, вот пускай бы они и сочинительствовали. Ладно, ну их к черту. Я почему заговорил – вспомнил, как Сеня у меня роту в атаку водил. Ничего, нормальный мужик, за Сеню я выпью. И пойдем, да?

– Куда пойдем?

– Ты ведь уходить собралась, а меня тоже сегодня на веселье не тянет. Схожу в комендатуру, возьму квартирный талон. Я, как приехал, не взял... Думал, будет, где переночевать.

Скоро они ушли вместе – потихоньку, ни с кем не прощаясь. На улице подморозило еще сильнее, воздух сделался обжигающе-колючим, в чистом звездном небе сиял молодой месяц, – будто никакой войны, такая стояла вокруг глубокая, мирная тишина.

– Тебе в какую сторону? – спросил Дежнев.

– Недалеко от комендатуры, пройдемся немного, проветримся, все равно по пути. Я, в общем-то, тоже случайно туда попала... не хотелось оставаться дома, мне в эти дни трудно быть одной...

– В какие «эти дни»? – не понял Дежнев.

– Да просто... мальчик мой умер в это время, – объяснила она спокойно, почти деловым тоном. – Когда – точно не знаю, но где-то вот... конец января, начало февраля. Два го-

да уже, я ведь тебе, кажется, рассказывала... – Она помолчала, потом добавила так же деловито: – Знаешь, я, наверное, долго не выдержу. Говорят, время залечивает – какое там, только страшнее становится.

– Это тебе сейчас так кажется, – тоже помолчав, откликнулся Дежнев. – В конце концов...

– Знаю, знаю. «В конце концов, не у одной тебя погиб ребенок» – это хотел сказать? Дурак ты, Сережа, извини за прямоту. Впрочем, по-своему ты прав, просто о другом совсем говоришь. Можешь ты себе представить полуторагодовалого ребенка, который умирает от голода в темной ледяной комнате, рядом с трупами двух стариков? Не можешь? Тогда и не говори ничего. А я вот представляю себе это, понимаешь? Не знаю, может, это и не так было, может быть, бабушка была еще жива, и он умер у нее на руках, и она отогревала его дыханием, сказку ему рассказывала, не знаю. Но я вижу это так, поэтому и говорю, что надолго меня не хватит. Извини, Впрочем, у тебя сегодня и своего хватает, как я понимаю...

Ему действительно выше головы хватало своего, и он уже пожалел, что пришел на этот дурацкий сабантуй и встретил ее в таком состоянии; но для нее-то это, наверное, лучше – все-таки есть с кем поделиться. Так что, может, и хорошо, что пришел и встретил.

Они уже миновали комендатуру, когда Лена заговорила снова – с той же странной, безжизненно-спокойной интонацией:

– Видишь ли, я погубила их всех, не только Мишеньку, но и Мишиных родителей. Мне недавно рассказали про одну женщину, которая была там в самое страшное время, в первую зиму, и прокормила всю семью – мать, двух сестер – знаешь как? Очень просто, она стала донором; там, оказывается, можно было сдавать кровь, за это давали дополнительный паек, и вот этим пайком она всех спасла. Худо-бедно, но прокормились. Что на меня нашло, Господи, что на меня тогда нашло...

– Война нашла, ясно что, – отозвался Дежнев, – много ли мы тогда, в первое лето, понимали. Кто знал, что оно так обернется...

Говоря это, он думал и о себе – не в том смысле, что мог не пойти в военкомат; не сделать этого он не мог, но он должен был позаботиться о Тане, заставить ее уехать в Москву, в Тулу, куда угодно, надо было списаться с Николаевым, он бы устроил. А так получилось, что и он бросил ее на произвол судьбы, одну совершенно, без единого близкого человека...

– Я иногда просыпаюсь от его голоса, – говорила Лена, – он меня по утрам будил, проснется раньше, и «мама, мама»... У него кровать рядом стояла – такая, знаешь, с сеточками по бокам, вроде как гамак, только помельче, – и он встанет, как обезьянка, и зовет, будит. Он ходить уже начал, несмело так, а стоял хорошо, иногда даже не держался. Проснешься, а он уже ждет -смотрит, улыбка во всю рожицу, и в глазенках столько радости, столько... доверия, понима-

ешь, у маленьких ведь всегда эта доверчивость к...

Она не договорила, обеими руками вцепилась вдруг в рукав его полушубка, уткнулась лицом, вся сотрясаясь от беззвучных рыданий. Он стал молча гладить ее по плечам, не пытаясь даже что-то сказать. Скоро она затихла.

– Ну что, идем? – спросил он. – Где ты квартируешь-то?

– Послушай, Сережа, – сказала она тихо. – Если хочешь, мы никогда больше не увидимся, я тебе обещаю, – но сегодня не оставляй меня одну, прошу тебя, потом я могу хоть на другой фронт перевестись, у меня есть возможности. Я не знаю, что ты сейчас обо мне думаешь, да не все ли равно в конце концов, – иначе я не смогу, не вынесу, мне ведь от тебя совершенно ничего не надо, просто я одна не могу быть с этими своими мыслями, воспоминаниями, не оставляй меня сегодня, Сережа...

Глава восьмая

Новый комендант появился в лагере неожиданно. Вообще-то Фишер давно говорил Тане, что рано или поздно его отсюда уберут, и даже называл сроки; но сроки проходили, кончился январь, миновала половина февраля, а об учителе, застрывшем на посту лагерного коменданта, никто не вспоминал. Фишер клял свою судьбу и начальство, а Таня была довольна. Она уже начала надеяться, что никаких перемен в «Шарнхорсте» вообще не произойдет.

Но однажды днем, когда она, распределив работы между дежурными, занималась стиркой у себя в комнате, ее вызвали в канцелярию. Явившись туда, Таня увидела человека в форме СА – сапоги, заправленная в бриджи темно-желтая рубаха с продетым под погон ремнем портупеи, заколотый круглым значком со свастикой галстук и большой нож на поясе. Штурмовик был высок и пузат, с подстриженными а-ля фюрер усиками. Он стоял посреди комнаты, расставив ноги и держась обеими руками за широкий поясной ремень. Фишер, морщась от дыма зажатой в губах сигареты, рылся в выдвинутом ящике своего стола.

– Это вот наша переводчица, – сказал он, когда вошла Таня. Потом покосился на нее и добавил: – А это новый комендант, шарфюрер Хакке. Куда к черту могли деваться бланки отпускных свидетельств?

– Они в другом ящике, – сказала Таня. – Разрешите... Подойдя к столу, она раскрыла левую тумбу и быстро нашла бланки.

– В высшей степени странно, – квакающим голосом заявил шарфюрер. – Переводчица имеет доступ к лагерной документации? Может быть, печать тоже находится у нее?

– Печать я ношу с собой, – сказал Фишер и ощупал свои карманы. – Нет, оставил дома. К печати, разумеется, никто, кроме меня, доступа не имеет.

– Но содержимое вашего стола переводчица знает лучше вас, – продолжал новый комендант тем же мерзким голосом. – Должен сказать, это вопиюще противоречит всем инструкциям.

– А я этих инструкций не помню, – сказал Фишер. – Я, партайгеноссе Хакке, разбираюсь в них приблизительно так же, как вы в педагогике. Двадцать раз я просил убрать меня отсюда куда угодно... хоть на Восточный фронт.

– Не сомневаюсь, что ваше истинно германское желание будет удовлетворено, партайгеноссе Фишер, – проквокал Хакке. – Переводчица может удалиться.

– Jawohl, Herr Lagerfuhrer²², – отчеканила Таня и сделала четкий поворот налево кругом. Выйдя, она присвистнула изумленно и горестно: ну и фрукт!

Через час к ней зашел Фишер. Видно было, что он расстроен, но старается этого не показывать.

²² Слушаюсь, господин комендант (нем.).

– Ну, переводчица, – он усмехнулся закуривая, – кажется, твоя сладкая жизнь окончилась. Что?

– Зачем вам было отсюда уходить? – сказала Таня с упрямством. – Сидели бы тихо – никто о вас не вспомнил бы...

– Не по мне должность. Я все-таки учитель, а не надсмотрщик.

– Но людям с вами хорошо. А теперь прислали этого...

– Да, это экземпляр, – Фишер покрутил головой. – Ладно, проживете и без меня. В сущности, помочь им всем я все равно не мог... Что я мог сделать – увеличить хлебные нормы? Или снять колючую проволоку? Не носи чепуху, переводчица. Лагерь есть лагерь, независимо от личности коменданта. Проживете и с новым. Я только хотел тебя предупредить!

Он поднял палец, строго глядя на Таню.

– На жизнь лагерников перемена начальства повлияет мало. Но! На твою жизнь она повлиять может. И еще как! Слушай меня внимательно, переводчица. У тебя могло сложиться самое превратное представление о собственной безнаказанности, а также о снисходительности и доверчивости немцев вообще, но ты жестоко ошибаешься, моя милая. Просто тебе посчастливилось напасть на Фишера, который сквозь пальцы смотрел на все твои фокусы!

– Но... я не понимаю... о каких фокусах вы говорите?

– Не спрашивай, переводчица, не спрашивай, я не такой уж дурак, каким тебе показался. Ты думаешь, я не заметил

подчищенных списков? Ты думаешь, я не обратил внимание на кляксу, которой не было раньше?

Он замолчал, глядя на нее насмешливо. Таня попыталась что-то сказать, но ничего не придумала.

– Держи себя в руках, черт возьми! – прикрикнул вдруг Фишер. – Нечего соваться в такие дела, если ты не научилась владеть своим лицом! В гестапо ты бы тоже начала вот так бледнеть и краснеть?

Окурок, от которого оставалось уже не более сантиметра, обжег ему пальцы – он загасил его, спрятал в жестяную коробочку и тут же закурил новую сигарету.

– Невиданное свинство, – сказал он, покачивая головой. – За месяц протащить в лагерь двух человек, неизвестно откуда взявшихся. Ты слишком уж расхрабрилась, переводчица! И виноват в этом я. Тебе слишком многое сходило с рук, моя милая Таня, вот ты и решила, что все тебе позволено. А знаешь, что нужно было сделать, когда я в первый раз заметил твои проделки со списком? Нужно было тебя взять, ткнуть носом в эту самую кляксу – гениальная выдумка, надо сказать, просто гениальная! – а потом попросту выпороть. Да, да, моя милая! Это тебя отучило бы от игры в конспирацию. Идиотка, подумай о том, что было бы с тобой, окажись на моем месте другой комендант! Скажем, тот же Хакке, с которым только что имела удовольствие познакомиться. Ты хоть немножко отдаешь себе отчет, в какую игру ввязалась?

Он смотрел на нее, ожидая ответа. Она молчала.

– Кто эти двое? – негромко спросил Фишер. – Откуда они вообще выползли?

– Не знаю, – сказала Таня, глядя в сторону.

– Кто дал тебе указание устроить их в лагере?

– Никто мне не давал никаких указаний...

– Логичный ответ, переводчица. Логичный и вполне убедительный. Такие ответы особенно нравятся следователям. Ты знаешь, что делают в гестапо с такими упрямыми дурами?

Таня посмотрела Фишеру в глаза и снова отвела взгляд.

– Ты даже не позаботилась приготовить хотя бы самое примитивное объяснение, – сказал тот. – Хотя бы на всякий случай! Или ты была так уверена, что ничего не случится? Что под крылышком у Фишера тебе уже ничто не грозит? Слушай-ка, ослиная ты голова! Если это дело вскроется – надеюсь, этого не случится, но будем предполагать худшее, – так вот, если до твоих протезе все-таки докопаются, то имей в виду: ты устроила их за взятку. Это ясно? «Шарнхорст» до сих пор слыл лагерем довольно либеральным, и неудивительно, что эти двое просто захотели перебраться сюда из лагеря с более строгим режимом. Они предложили тебе взятку – не знаю там, плитку шоколада или пару чулок, – и ты согласилась, не видя в этом ничего особенно преступного. Это не очень убедительное объяснение, но оно выглядит более или менее правдоподобно, и за это хоть можно зацепиться. Так, может быть, ты еще отделаешься сравнительно легко. А

вот за такие ответы, как ты дала мне, за эти твои «не знаю» и «никто» первый же следователь спустит с тебя шкуру. И будет совершенно прав! Поэтому сиди тихо и смирно, а тем, кто подучил тебя подобным фокусам, скажи, что обстановка в лагере изменилась. Ты меня поняла, переводчица?

– Да, господин Фишер...

Опять наступило молчание, Фишер закурил третью сигарету. «Волнуется», – подумала Таня. Обычно он курил редко – экономил скудный табачный рацион.

– Вас действительно могут послать на фронт? – спросила она.

– Почему бы и нет?

– А вы когда-нибудь воевали?

– Да, во Фландрии. Тебя еще не было и в проекте.

– А вы перебежите, – предложила Таня. – Это ведь, наверное, совсем не трудно.

– Спасибо за совет, – буркнул Фишер. – Просто не знаю, что бы я без тебя делал?

– Этот... шарфюрер еще там?

– Убрался. Вступает в должность завтра, так что держись, переводчица. Первое время он будет особенно ретив, постарайся, чтобы все было в порядке.

– Я постараюсь, – сказала Таня. – А нельзя мне уйти? Уж лучше копать землю...

– Не думаю, что он тебя отпустит. Ты действительно хотела бы отказаться?

– Если бы отпустил...

– Значит, остановка только за этим? А кто же в таком случае стал бы колдовать над списками?

– Ну... – Таня беспомощно пожала плечами. – Вы сами говорите, теперь все равно невозможно – при новом коменданте...

– Это как сказать, – усмехнулся Фишер. – Ведь ты же такая хитрая и находчивая, а? А вдруг тебе в голову придет еще какая-нибудь блестящая идея? Вдруг партайгеноссе Хакке тоже окажется болваном? До сих пор тебе, насколько я знаю, удавалось неплохо обдeldывать свои делишки. А, переводчица?

– Вы считаете, мне лучше остаться? – после долгого молчания спросила Таня.

– Я ничего не считаю! – Фишер, словно защищаясь, выставил перед собой ладони. – Не хватает еще, чтобы потом ты свалила все на меня: дескать, это Фишер меня подучил. Я просто хочу, чтобы ты поняла ситуацию: обстановка в лагере часто зависит не столько от коменданта, сколько от переводчика. Ты согласна?

– Ну... может быть, – нерешительно согласилась Таня, подумав.

– А если так, то выкинь из головы глупости и занимайся своим делом.

– Я не понимаю, – сказала Таня. – То вы говорите, что нужно сидеть тихо, то...

– То что? Сидеть тихо, моя милая, вовсе не значит сидеть, сложа руки. Что главное в жизни? – долг, долг и еще раз долг! Человек рождается именно для этого, для постоянного и неуклонного выполнения своего долга, каким бы он ни был. Раньше моим долгом было учить детей, а теперь мне снова придется стать солдатом – да, да, это тоже будет выполнением долга, не смотри на меня так! Долг – это не всегда то, что нам нравится. Ты что же думаешь, я не понимаю всей преступности войны? Однако если отечество потребует, чтобы я принял в ней участие, я так и сделаю. Потому что долг есть долг! А твой долг здесь, сейчас – помогать соотечественникам, чем можешь и сколько можешь. Фалентина – ты ее помнишь? – она это понимала.

– А те, что ее увезли, они тоже выполняли свой долг?

– Естественно! Долг не может быть каким-то универсальным, общим для всех. На фронте немец стреляет в русского, русский стреляет в немца, и каждый при этом выполняет свой долг – так уж устроен мир, никуда не денешься...

Начало царствования шарфюрера Хакке подтвердило справедливость пословицы о новой метле. В первый же день он обошел все комнаты и стал орать, что в лагере грязно, как в иудейской бане. Кроме того, он нашел, что население распределено неравномерно – в одних комнатах народу больше, в других – меньше. Таня объяснила, что вначале все были расселены поровну, но потом люди сами начали переселяться, как им было удобнее; тут есть, например, группа кре-

стьян, вывезенная из-под Орла, – естественно, что они предпочитают держаться вместе. Или, скажем, холостяки – они тоже собрались в одной комнате, потому что жить вместе с семейными неудобно, те и другие будут стеснять друг друга...

– Quatsch²³, – решительно квакнул Хакке. – Это не санаторий, а трудовой лагерь. Чем это они могут друг друга стеснять?

– Вы понимаете, у семейных есть дети, а в мужской комнате курят...

– Курят? Почему курят? Кто разрешил курить в лагере? Неслыханное безобразие! Откуда они берут сигареты – попрошайничают на улицах?

– Да нет, просто подбирают окурки, – Таня пожала плечами. Не знает он, что ли, как это делается? Даже многие немцы разгуливают с тросточками, специально приспособленными для сбора окурков – с острым гвоздиком на конце, чтобы не наклоняться.

– Подбирают окурки! Великолепно! Колоссально! Вместо того чтобы работать, они таскаются по улицам и подбирают окурки! Ну ничего, я наведу порядок в этой синагоге!

Вечером, после ужина, население лагеря выгнали на апель-плац, тускло освещенный синими фонарями. Комендант держал речь, Таня переводила фразу за фразой.

– Мне стало известно, – выкрикивал шарфюрер, – что

²³ Чепуха (нем.).

некоторые из вас проводят вечера в пивных! Невообразимая наглость! Вас привезли сюда работать, а не пить пиво! Начиная с сегодняшнего дня ворота лагеря будут запираются ровно в девять часов! Пребывание на улицах после этого срока будет рассматриваться как попытка побега, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Кроме того, систематически нарушается инструкция, согласно которой всякое передвижение из лагеря к месту работы и обратно, будь то пешком или любым видом транспорта, должно совершаться только под охраной специальных лиц, выделенных фирмой для этой цели. В ближайшие дни всем предпринимателям, использующим рабочую силу из лагеря, будет разослан соответствующий циркуляр, и после этого ни одна рабочая группа не выйдет за ворота, если сопровождающее лицо не окажется здесь к моменту окончания утренней поверки...

Он говорил еще долго, своим квакающим голосом обрушивая на головы лагерников всевозможные запреты и угрозы, не забыв и про злополучные окурки – отныне в лагере запрещалось курить под угрозой лишения дневного пайка. Нельзя было придумать ничего глупее.

Не умнее было и заявление Хакке относительно хождения на работу под конвоем. В этом смысле у предыдущего коменданта уже был кое-какой опыт; поколебавшись немного, Таня решила сказать об этом новому. В конце концов, если он не окончательный дурак, он поймет, что она хочет ему помочь, а ей важно наладить с ним хотя бы приличные от-

ношения.

– С вашего позволения, – сказала она ему на следующий день, когда они остались вдвоем в канцелярии, – я хотела бы посоветовать вам не спешить с циркуляром относительно сопровождения рабочих групп.

– Что такое? – неприязненно спросил Хакке. – Почему это не спешить?

– Такой циркуляр мы уже рассылали в конце декабря, – сказала Таня, – он исходил из канцелярии обербургомистра Эссена, однако не дал никаких результатов. Основная трудность в том, господин комендант, что у нас более шестидесяти процентов рабочих заняты на мелких предприятиях с ограниченным числом персонала. Когда речь идет о больших группах – фирма может обеспечить сопровождение. Вот, например, на фабрике Лоос в Штееле работают около сорока человек – их водят туда и обратно под охраной...

Она достала из картотеки несколько карточек и разложила их перед комендантом.

– ...но возьмите такую фирму, как столярная мастерская Криге. Она находится в самом Эссене, ехать туда около часу, а работают там от нас всего два человека. Очевидно, хозяину трудно каждый день гонять в такую даль своего рабочего, утром и вечером, только для того, чтобы...

– Чепуха! – прервал ее Хакке. – Трудно или нет – меня не касается. Инструкция должна выполняться! Если господину Криге не нравится ездить в Штееле – пусть берет ра-

бочих из другого лагеря, поближе. Занимайся своим делом и не морочь мне голову. Да, и вот еще что – надо немедленно перераспределить людей по комнатам. Объявишь об этом сегодня перед ужином! Возьми списки и раздели общее количество людей на число комнат, и пусть перебираются сегодня же вечером. Койки в каждой комнате должны стоять в предписанном порядке! Никаких занавесок и перегородок – только порядок! И чистота! Кстати, что за дикая банда гнездится в шестой комнате? Черт знает что! Кто эти недочеловеки?

– Я не знаю, как это объяснить, господин комендант, – сказала Таня. – Это такие – ну, у них такая особенная религия...

– Никаких религий! Здесь трудовой лагерь, а не молитвенный дом! Они заросли бородами, как сионские мудрецы! Передай им, что при следующем посещении бани они все должны пройти санобработку и постричься! Наголо! Под машинку! Я не потерплю у себя в лагере этот вшивый кагал!

– Да, но... они не ходят в баню, господин комендант.

– Что-о?

– Они говорят, им не позволяет религия...

– Ах, так! Я вижу, здесь до сих пор каждый делал, что хотел и вел себя, как хотел. Ну, ничего! Я вам покажу, что такое настоящая германская дисциплина! Что?!

– Я ничего не говорю, господин комендант, – поспешила сказать Таня.

До самого вечера она просидела над списком, пытаясь перераспределить людей по комнатам так, чтобы по возможности меньше нарушить их сложившийся уже быт, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Но как это сделать? Сектантов слишком много для одной комнаты, но никто из них не захочет уйти от своих и жить вместе с «нечестивцами». И потом, эта проблема семейных с детьми... Ну, этих можно не трогать – в конце концов, в каждой комнате есть холостые или, по крайней мере, бездетные. В седьмую придется вселить человек двенадцать, не меньше. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. В общем-то, это даже справедливо.

Для всех перенаселенных комнат Таня составила на отдельных листках бумаги списки лиц, подлежащих переселению, с указанием – кому куда перебираться. Готовить список для шестой не было никакого смысла: сектанты, кажется, не умеют читать, да и все равно никуда не переселятся. Раздав списки дежурным, она пошла к себе. Приближалось время ужина, и все обитатели седьмой комнаты были уже дома.

– Товарищи, к нам вселяют еще четырнадцать человек, – объявила Таня. – И потом, придется разобрать все «купе». Это приказ коменданта. Койки расставить строго по ранжиру, на определенном расстоянии одна от другой. Занавески он тоже запретил.

В комнате стало тихо.

– Позвольте, – сказал желчный интеллигент, – это же нелепость, по меньшей мере...

– Скажите это коменданту, – посоветовала Таня.

– Да, но вы и сами могли ему объяснить, вы же переводчица! Не понимаю, кому мешают эти занавески?

– Во всяком случае, не мне, – сказала Таня, едва сдерживаясь. – Как вы догадываетесь, я тоже предпочитаю разделяться не у вас на глазах!

– Каким тоном вы со мной разговариваете? – истерично взвизгнул интеллигент. – Девчонка!

– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал кто-то. – Не хватает еще ссор...

– А я лично считаю, что Леонид Викторович прав, – вмешалась жена николаевского коммерсанта. – Если комендант такое придумал, то уж переводчице молчать нечего! Взгля бы да сказала, чем приходить тут да распоряжаться: это убрать, это расставить! Подумаешь, шишка какая!

Коммерсантша была дура дурой, все это знали, и обижаться на ее слова было глупо, но Таня, и без того уже взвинченная, обиделась так, что у нее перехватило дыхание.

– Потрудитесь мне не указывать! – крикнула она звенящим голосом. – Я сама знаю, что можно сказать коменданту и чего нельзя! Койки должны быть переставлены сегодня же, мужчины займутся этим после ужина. И прекратить разговоры на эту тему!

Ни на кого не глядя, она ушла к себе за занавеску. Действительно, собачья должность!

За столом продолжался оживленный разговор – одни со-

бирались идти объясняться к коменданту, другие считали это бессмысленным. Они спорили долго, потом кто-то крикнул:

– Таня, можно вас на минуту?

Она встала.

– В чем дело?

– Вы можете сейчас пойти с нами к коменданту?

– Могу, конечно, если он еще не ушел. Но я не советую к нему идти.

– Почему?

– Потому что он не станет с вами разговаривать. Как вы не понимаете?

– Извиняюсь, это уж наша забота, – сказал желчный интеллигент. – От вас требуется одно: исполнить обязанность переводчицы. Надеюсь, вы от этого не отказываетесь?

– Хорошо, идемте, – сказала Таня, пожав плечами. Они спустились на первый этаж. В канцелярии горел свет. Таня постучалась и услышала из-за двери квакающее: «Herein!»²⁴

– Господин комендант, люди из комнаты номер семь просят разрешения с вами поговорить, – сказала она, войдя вместе с двумя делегатами.

– Что случилось? Говорите!

Таня обернулась к желчному интеллигенту:

– Господин комендант вас слушает.

– Мы просим перевести ему следующее, – сказал тот въед-

²⁴ Войдите! (нем.).

ливым тоном. – В седьмой комнате живут интеллигентные люди с семьями, что было принято во внимание прежним комендантом, когда решался вопрос относительно числа жильцов. Сейчас к нам хотят вселить дополнительно четырнадцать человек, среди которых могут оказаться люди, лишенные культурных навыков, шумные, неопрятные...

– Вы не то говорите, Леонид Викторович, – шепнул второй делегат. – Ну при чем тут «шумные»? Вы ему скажите, что мы просим не переставлять койки...

– Вы, пожалуйста, меня не перебивайте, – огрызнулся интеллигент и продолжал, обращаясь к Тане: – Скажите, что мы, в конце концов, имеем право на какие-то элементарные удобства. Не можем же мы жить так, как живут в других комнатах простые колхозники!

– Чего они хотят? – нетерпеливо спросил комендант. Таня перевела. Как по-немецки «интеллигентные», она не знала и сказала просто «специалисты с высшим образованием». Хакке слушал ее, выпучив глаза.

– Итак, господам требуются удобства, – проквашал он, когда Таня кончила. – Может быть, их не устраивает также отсутствие ванн комнат? Может быть, им нужны номера-люкс?

Он осведомился об этом вполне мирным тоном, словно обсуждая реальную возможность, и вдруг обернулся к желчному интеллигенту, еще больше выкатив глаза и побагровев.

– Невиданная наглость! – заорал он диким голосом. – Я

тебе покажу «удобства»!! Я тебе покажу «высшее образование»!! Вон отсюда, старая задница!!!

Делегацию вымело за двери в одно мгновение.

– Хамство какое, – с достоинством сказал интеллигент, поднимаясь по лестнице. – Обычная история, произвол местных властей. Уверен, что наверху об этом ничего не знают.

– Ну разумеется, наверху сидят такие добряки, – сказал второй делегат.

– Дело не в доброте, Павел Сергеевич. Немцы прежде всего подходят к каждому вопросу с точки зрения целесообразности. Какой им смысл, скажите на милость, бесцельно озлоблять людей, которых они привезли к себе для работы? Не могу поверить, чтобы существовала такая установка. Что, собственно, сказал этот истерик? – спросил он, обращаясь к Тане.

– Вы уж не спрашивайте, – ответила та сердито. – Я с удовольствием перевела бы вам, что он сказал, только не хочется повторять.

Она не удержалась и добавила:

– Ну как, побеседовали с новым комендантом?

Они были уже на площадке второго этажа, когда внизу послышался звук отворившей двери.

– Dolmetscherin hierher!²⁵ – раздался на всю лестницу вопль шарфюрера.

²⁵ Переводчицу сюда! (нем.).

Таня вернулась в канцелярию. Хакке стоял посреди комнаты, расставив ноги в начищенных до блеска сапогах, и держал руки за спиной.

– Zu Befehl, Herr Lagerfuhrer²⁶, – упавшим голосом сказала Таня, стоя у двери. Она сразу поняла, что дело плохо.

Хакке смерил ее свирепым взглядом.

– Ближе!

Таня несмело приблизилась.

– Так ты что это задумала, красотка? – угрожающе тихим голосом спросил комендант. – Решила организовать коллективный протест?

– Я... я ничего не организовывала, – пролепетала она и отступила на шаг.

– Стоять смирно! – рявкнул Хакке. – Кто тебе разрешил водить сюда делегации? Это ты посоветовала этим дегенератам явиться ко мне с протестом?

– Я не советовала, – сказала Таня совсем тихо, чувствуя, как холодеют щеки. – Они просили меня перевести – это ведь моя обязанность...

– Твоя обязанность состоит в том, чтобы переводить мои распоряжения, а не белиберду всякого болвана, которому они не нравятся! Твоя обязанность состоит в том, чтобы помогать мне управлять трудовым лагерем – а не ставить палки в колеса! Вот в чем состоит твоя единственная обязанность! А что делаешь ты? Ты лезешь ко мне с непрошеными совета-

²⁶ По вашему приказанию, господин комендант (нем.).

ми! Ты подговариваешь этих идиотов не выполнять мои приказы! О-о, я сразу понял, что ты за штука. Я видел, как ты тут вертела задом перед старым слюнтяем Фишером! Неудивительно, что он дал тебе слишком много воли! Но только учти, со мной это не пройдет. Я тебя вышколою, красотка, и очень скоро. Ты у меня будешь ходить по струнке! Что?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.